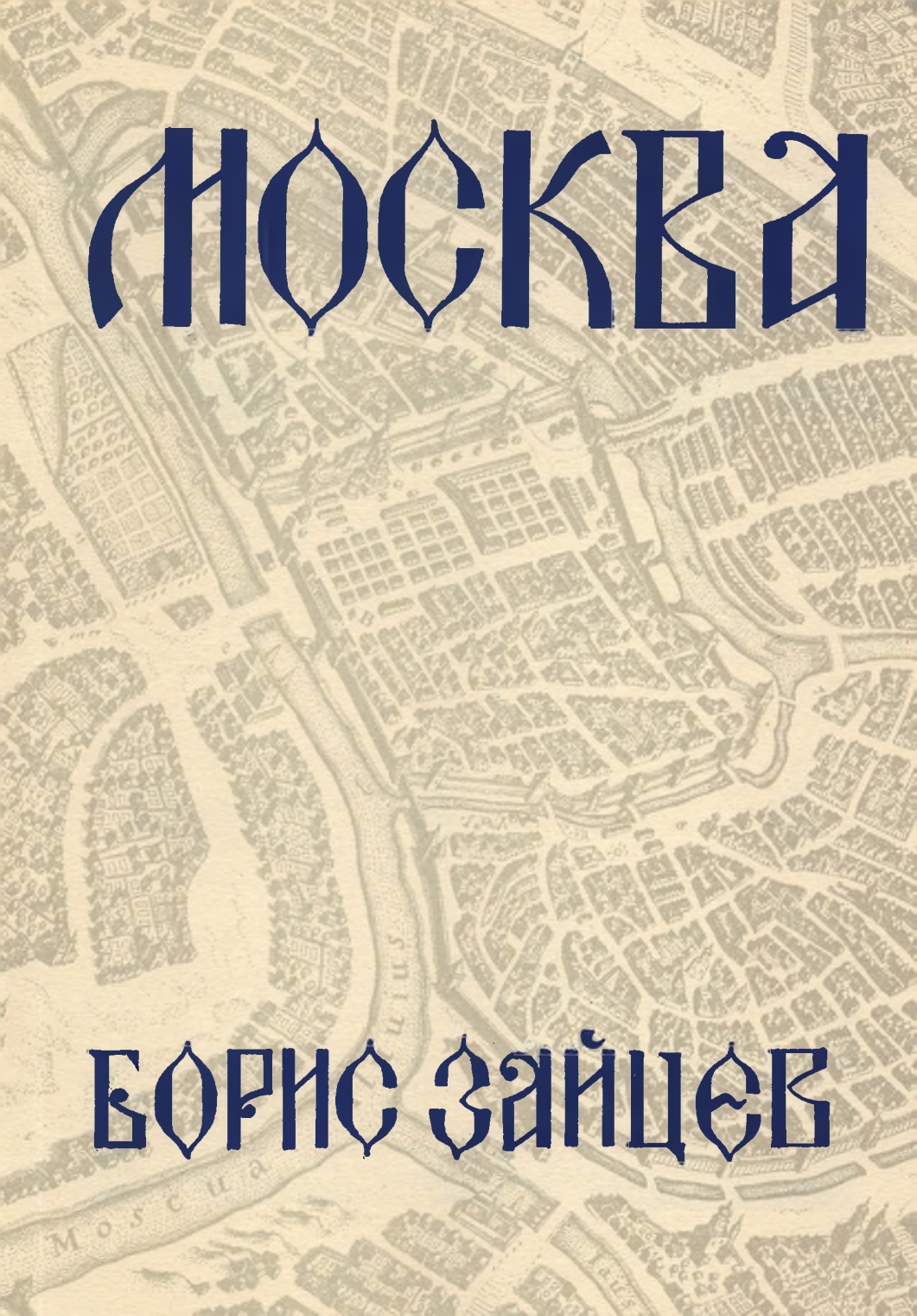
Москва



Борис Зайцев

БОРИС ЗАЙЦЕВ

МОСКВА

ECHO PRESS

Мюнхен 1973

Tous droits réservés pour tous pays.
Copyright 1960 by the Author.

Москва представлена в этой книге не во всей ее полноте, она взята лишь в связи с жизнью пишущего. Соответственно с этим сделан и выбор зарисовок, и характер их: люди, дела, пейзаж Москвы.

Если слова автора дадут Москву почувствовать (а может быть, и полюбить), то и хорошо, цель достигнута.

Париж, ноябрь 1938.

I.

Памяти Чехова

Человеку семнадцать лет. Он кончает гимназию. Отец только что назначен в Москву управлять огромным заводом. И вот первые рождественские каникулы... Человек дик, застенчив, самолюбив. Он провинциал, но куда едет, где будет жить две блаженных, свободных недели? В самой Москве!

И Москва не обманула. Сколько нового, необыкновенного! Из уютного дома на заводе Гужона каждый день возит извозчик Сергей, в санках, по декабрьскому снегу, мимо Андрониева монастыря, Николо-Ямскою — на Кузнецкий, Петровку, Театральную площадь. Старый портной Кан, на Рождественке, примеряет первый «штатский» костюм, ползает на коленях, черкает мелом брюки, пыхтит, косым, солидным глазом осматривает художество свое. На Кузнецком стрижет парикмахер Теодор. У Зимина в кассе можно купить билет на начинающего Шаляпина, у Трамблэ сесть за столик и выпить чашку шоколада в накуренной, небольшой комнате. По зимним тротуарам на Петровке идут дамы — с картонками, покупками. Зажигаются фонари, летят снежинки. Елки у Большого театра, толпа — все кажется нарядным и волшебным: это не что-нибудь, это столица. Необычные люди, неизвестные красавицы, сияющие театры, балет, Дворянское собрание, рестораны, куда можно будет заглянуть лишь когда старый Кан пришьет последнюю пуговицу. Но какое счастье — на том же Сергее катить через два дня Солянкою домой — уже в мерлушковой шапке, пальто, в черном костюме — взрослым, свободным!

Дома — особняк на заводе. Камин потрескивает и пылает у отца в кабинете, в столовой матовая люстра — электрическая. Сквозь зеркальные стекла видны оснеженные деревца сада. За забором паровозик-кукушка тащит три вагона с болванкой: дом вздрагивает, когда он проходит у самой стены.

Новый мир продолжается. У того же камина, впервые в руках новая книжка: Антон Чехов, «Хмурые люди». Оторваться нельзя. Все особенное. Люди, манера, язык. И сам автор особенный, ни на кого непохожий. Тургенев, Толстой — уже известны. И хотя Толстой жив, но он и легенда: «классик», Синай, облака над горой. Чехов же «молодой» автор, вот тут, чуть не рядом, в этой самой волшебной Москве живущий. Первая встреча с ним: юность и жажда, счастье и неутолимое стремление.

Собинов распевает на утренниках Большого театра (ложа бель-этажа, позолота, тяжеловесный красный бархат, вековая пыль, капельдинеры похожие на министров — величавое дыхание Империи). У Зимина Шаляпин дьявольски хохочет в красном Мефистофеле, или лениво возлегает, как огромный тигр, в шатре Олоферна. Но Антон Чехов з а этим, п о д этим, уже где-то в сердце — скромный и как будто незаметный: но вошел, покорил и отравил.

* * *

Слава его развилась быстро, в сравнительно ранние годы, — ему не было и сорока (да и краткой жизнь оказалась!) — славу эту дала и питала Москва, наиболее — Художественный театр. Много тогда шумел Горький, но по-другому, шумом мутным и безвкусным, как безвкусен, груб, плебейски-плосок был всегда. Чехова Москва полюбила чистою, застенчивою любовью. Лавры ему несла незапятнанные — да и он никогда поз не принимал. Покашливал, говорил баском, пенсне надевал-снимал. Долгие годы стоял у меня на столе портрет его, тех времен (в революцию погиб): слегка растрепанные волосы, умные русские глаза, интеллигентское пенсне, бородка, прямой, стоячий воротничок... — крестьянской семьи человек, а без капли плебейства. То же н а р о д н о е в нем, как и в Толстом — одинаково они «первоначальной» стихии.

Чехов был из Таганрога, но Москвой крещен, кончил университет Московский, ладом своим, складом сдержанно-великорусским очень к Москве подошел и не зря дал сестрам в пьесе знаменитый клич: «В Москву, в Москву!» — для многих непонятный.

В эти годы, конца прошлого, начала нового столетия, было у него именьице под Москвой, близ станции Лопасня Курской дороги, Мелихово. Там он и жил, врачевал, благотворил — как русский писатель. Ему и подобало продолжать давний завет нашей литературы.

Мой отец вздумал тоже купить имение. Чехова же в это время врачи направили на юг, в Крым, так что Мелихово продавалось. Мы вычитали о продаже из газет, отец списался с Чеховым, а я — тогда уже студент, тайно писавший — вызвался Мелихово осмотреть.

Повидать Чехова. С Чеховым познакомиться! Я уже знал его теперь насквозь, видел и «Чайку», «Дядю Ваню», поклонение мое росло. Значит надо устроить паломничество.

Лопасня верстах в семидесяти от Москвы. Березовые леса, поля, перелески — пейзаж средней России, мягкий, и приветливый, и «ничего особенного». На станции пара лошадей в тележке, выбитые колеи, езда трусцой, в пыли, с кнутиком, поля, деревни и наконец, это самое Мелихово. Вот уж тоже «ничего особенного». Толстому и Тургеневу — барские дома с колоннами, парки, пруды, александровских времен церкви. Чехов устроился в тесноватой усадебке с небольшим садом вокруг дома, да флигельком в стороне. В саду забор, под густыми елями, а рядом еще чье-то именьице, с темной аллеей. Пруд свеже-выкопанный. Мутная вода в нем. Но самое оказалось смешное, когда бричка моя подкатила к крыльцу: хозяина дома нет. Вот так Чехов! Я его не предупредил, он и уехал в Москву.

Меня встретила Марья Павловна, его сестра, будто давно знакомого, оставила обедать. Мы обедали на стеклянной террасе дома, опрятного и аккуратного — даже довольно весело. Была молодая художница Хотяинцева, смешливая и приветливая, с высоким узлом волос на голове, еще кто-то, старушка матушка Антона Павловича. Думаю, во мне быстро разглядели не столь «покупателя», как поклонника. Разговор вертелся вокруг Чехова. После обеда показывали его флигель, где в одиночестве работал он. Кажется, там была маленькая вышка-балкончик, куда он подымался и любил сидеть по вечерам, рассматривая ночное небо, звезды.

— Здесь у нас бывал Станиславский, г о в о р и л а Марья Павловна: особенно перед постановкой «Чайки». (Какая-то ель в саду, скамеечка, лужайка очень напомнили первый акт «Чайки» — улыбка Марьи Павловны дала понять, что корни этих декораций тут). Даже в заборе и в усадьбе рядом что-то «треплевское» показалось. Вообще, хоть и не увидал хозяина, все же его облик в незатейливом, но слаженном, обсиженном гнезде сильно почувствовал.

Было ясно, Мелихово нам не подходит. Все-таки я ходил с каким-то старостой, глубокомысленно осматривал «Вишневый сад», про себя же решил Чехова непременно повидать.

... Через несколько дней это произошло — уже в Москве, в жаркий, пыльный летний день. Человек со слегка растрепанными волосами, в пенсне, скромном пиджачке, отворил мне дверь квартиры на Дмитровке, закрывая поднятым воротником костюма шею, и баском, приветливо сказал:

— Пожалуйте, пожалуйте...

Это мой грех перед ним. Я наверно уж знал, что Мелихова мы не купим, все же делал вид, что нужны справки. Обманул ли я его? К нему много ходило молодых людей, и по тому, как упорно сводил я раз-

говор на писательство, вероятно, быстро он разобрал, что за гусь перед ним. Все-таки, «секрета» своего я не выдал. И на этот раз Бог уберег его от моей рукописи.

* *
*

Курский вокзал в Москве, вечер, ресторан, отец за кружкой пива. Сейчас подадут севастопольский курьерский поезд. Новенький китель, вензеля Горного института на плечах, фуражка с белым верхом — первый раз один, в Ялту, на виноградный сезон. Артельщик, чемодан, веселое лицо отца на перроне, поцелуи, прощанье — и купе первого класса с синей занавеской фонаря. Поезд трогается. Плавно идет, постукивая на стрелках. Огни чертят в окне дуги. Сейчас слева запылают сталелитейные печи Гужона, белые электрические фонари — и уже кончилась Москва. Впереди Лопасня, мимо нее пролетим с грохотом, а там неведомое: юг, Севастополь, Ялта... Все опять подстроено, чтобы повидать Чехова. Но теперь на дне чемодана рукопись, теперь уж ему не уйти.

Ночью не сразу заснешь — от сладкого волнения — хоть и целый мягкий диван для тебя. Но день меж Орлом и Лозовой, в жарких, дымных степях успокоит. И на утро солнце, другой воздух, тополя, кипарисы, полутатарские деревушки, минареты Бахчисарая, долины, горы, белые скалы Инкермана и как дышащее темносинее небо — море... От окна не оторвешься. Белоснежный Севастополь с белоснежными моряками. Колыхание синих бездн моря, душаще-опьяняющий ветер — закричал бы от радости. Влага, ласка, беспредельная широта ветра, пронзенного солнечным туманом, пахнущего йодом, солью — над блестящими волнами в белой пене проносящегося.

...«Пушкина» сильно качало. Дамы на палубе изнемогали. Чемодан мой подбрасывало, но рукопись от этого не стала ни лучше, ни хуже. Проходили слева красные глинистые берега. Георгиевский монастырь белел. Из всех пассажиров нырявшего парохода один разбойник-гимназист, возвращавшийся в Ялту, ел в столовой за четверых. Остальные в лучшем случае «удерживали позиции». Шли долго. Но у мола Ялты, в темноте блестевшей по горе огоньками, все огорчения забылись.

И началась мирная южная жизнь.

Гостиница моя «Гранд Отель» — не из первых, но мне все нравилось: и Ялта, и гостиница, и сплошной балкон по фасаду на море, и само море, и паруса на нем. Я объедался сладкою шашлой, кофе пил на набережной, вечером сидел в городском саду на музыке, но думал все об одном: о чеховской даче в Аутке (над Ялтой).

...И вот вызвали меня однажды, к телефону, низкий глуховатый голос сказал:

— Да, да, получил рукопись... Приезжайте, потолкуем.

Он назвал меня по имени и отчеству. Я был в восторге — «помнит, не забыл!».

Часов в пять подвозил меня ялтинский парный извозчик к даче Чехова. Я позвонил. Дверь отворилась, такой же юноша как и я, но с трубкой рукописи под мышкой, вышел на крыльцо, за ним слегка сгорбленная, знакомая фигура. Мы прошли в кабинет.

Из большого окна видны горы. На стенах фотографии, Левитановский пейзаж. В нише — мягкий турецкий диван — туда Чехов и забрался, а у меня плыло в глазах. На письменном столе лежала моя рукопись.

Чехов покашлял, помолчал.

— Это у вас в форме дневника... Вы туда можете что угодно всунуть. Вы вот мне повесть напишите...

Для него я готов был написать и роман, и стихи, что угодно.

— Очень уж мрачно. Это от молодости. А так... ничего. (Он прибавил несколько «ободряющих» слов). Я всплывал, начинал дышать.

Пенсне он свое подергивал, продолжал сидеть глубоко на диване, замолчал. Стало опять жутко. Чтобы как-нибудь сдвинуться, попробовал я спросить, как сам он пишет: «с натуры, или воображением?».

Должно быть, о таких глупостях спрашивали его не раз. Он мрачно ответил:

— Если у меня на руке пять пальцев, не могу же я сказать, что шесть.

И замолчал совсем. Я не знал, как дальше поддержать разговор.

Но вдруг сам он заговорил — приветливее, мягче: стал расспрашивать, сколько мне лет, где учусь, хочу ли и где напечатать свою вещь. И сразу простой естественный тон возник. Правда, я недолго его мучил. Минут через двадцать выходил, в ту же дверь, окрыленный, сияющий, навсегда окончательно уже Чеховым «взятый».

Я встречал его еще несколько раз — в городском саду, в ресторане. Он нередко сидел за столиком, пил красное вино, в пальто с поднятым воротником (вечера бывали прохладны). Раз, довольно поздно, натолкнулся я на него в уединенном конце набережной, он сидел на скамейке, тоже в пальто, глубоко шляпу надвинув. Очень к нему шло одиночество, пустынное море, шумевшее в скалах, ночь, звезды... Так и остался в памяти Чехов ялтинский: надломленным и кашляющим, одиноким, прохладным, со складкою задумчивости, грусти. Он уже сильно был болен. Временами шла горлом кровь. Дамы, поклонницы, поклонники, общее внимание на музыке в городском саду вряд ли особенно и развлекали. Любимый журавль, собачка на даче, ночное море... Он писал в это время «Трех сестер». Жить ему оставалось три года.

* * *

Именно эти три года — наибольшая его слава, проявление любви к нему, даже обожание. «Три сестры» и «Вишневый сад», прелестные вещи как «Архиерей»... — и болезнь, быстро съедавшая. Чехов жил в Аутке как в санатории. В Москву всегда его тянуло, особенно зимой, когда театр: там и играла О. Л. Книппер, на которой только что он женился. Иногда он в Москву «сбегал», всегда к ущербу для здоровья. В Москве любил то, чего теперь как раз нельзя было: морозы, ресторан «Эрмитаж», красное вино.

И когда раз зимой, кажется, в 1903 г. встретил я его на «Среде» у Телешова, Чехов был неузнаваем. В огромную столовую Николая Дмитриевича на Чистых Прудах, ввела под руку к ужину Ольга Леонардовна поседевшего, худого человека с землистым лицом. Чехов был уже иконой. Вокруг него создавалось некое почтительное «мертвое пространство» — впрочем, ему трудно было бы и заполнить его, по слабости. Он сидел в центре стола. За веселым ужином почти и не ел, и не пил. Только покашливал, да поправлял волосы на голове. В январе 1904 года, в день его именин шел впервые с триумфом «Вишневый сад». Чехов кланялся со сцены, через силу улыбался. А спустя полгода, в Баденвейлере сказал „ich sterbe" — вздохнул и умер.

Мы хоронили его в Москве, в светлый день июля. На руках несли гроб с Николаевского вокзала и много плакали. Плакать было о ком — не пожалеешь тех слез. Долго шла процессия, через всю Москву, которую так любил покойный. Служили литии — одну у Художественного театра. И лег прах его в родную землю Новодевичьего монастыря. Дождь прошумел на кладбище, а потом светлей закурились в выглянувшем солнце купола. И ласточки над крестами прореяли.

Начало Художественного Театра

Константин Васильевич Мошнин, веселый и красивый барин, слегка заикающийся, профессор механики в Александровском училище и страстный охотник, был приятелем моего отца. Отец управлял заводом Гужона. Мы жили в директорском особняке при заводе. Константин Васильевич у нас бывал, и мы у него. Однажды, в светлой нашей столовой с окнами в сад, за завтраком, обратился он к отцу.

— Ко-Константин Николаевич, а у меня но-вость. Я ведь те-атр сдал... У меня новая т-труппа сняла.

Ему принадлежал дом в Каретном ряду, и такой невредный, что помещался там целый театр «Эрмитаж». Летом при нем открывался и сад со всякими увеселениями. Зимой больше оперетка, легкая комедия. Но вот тут появилось что-то другое...

— Неосновательный народ актеры (отец из какой-то причуды делал ударение на первом слоге). Что же они у вас будут изображать, тезка?

— Что-то но-овое. Да вы приезжайте погляде-деть. У меня пообедаем, а потом, прямо в ли-терную ложу, она за м-мной...

Отец налил ему рюмку водки.

— Пустое дело, тезка. Поедем лучше на волчью облаву. Чего там с актерами возиться. Ну-ка, чи-ик!

Отец любил только деревню и охоту. И разговор тотчас перепрыгнул на то, как среляет Алексей Николаич Милюков, на Катуара, на обед в клубе, и тому подобное.

Все-таки сообщением своим Константин Васильевич заинтересовал — женскую половину и молодежь. Сестра моя училась у Игумнова в Консерватории, у нас всегда бывали ее приятельницы, жених сестры и я — студенты, нас больше занимал театр, чем отцова охота. Мать поддержала нас. И вышло так, что однажды, на трех извозчиках двинулись мы перед вечером в Каретный ряд.

Квартира у Мошнина была огромная, с явно-охотничьим выражением лица: бесконечные чучела, шкуры, рога, ружья, патронташи.

Произошло опять то же деление: на охотников и «штатских». Обед для последних не столь веселый, но около восьми Константин Васильевич поднялся, не обманув надежд:

— Ну, а теперь по-осмотрим...

Дом был так устроен, что надо пройти коридорами, разными закоулками и переходами довольно далеко — потом вдруг оказываешься у литерной ложи. Она совсем рядом со сценой. Занавес только что поднялся, рампа резко делит театр на две части: справа темная зала судей и зрителей, слева... — там бояре, пир, вид на Москву — «Царь Федор Иоаннович». Константин Васильевич был прав: театр, конечно, оказался «новым», и по постановке, и по игре. Всю левую часть сцены занимала крытая терраса «в русском духе», от зрителя ее отделяла балюстрада, срезавшая наполовину туловища артистов. Слуги подавали огромные блюда, на которых во весь рост — свиньи, гуси, куски быка; вкатывались бочки с вином. Споры, балагурство бояр, подписывавшихся под челобитной царю, красавица княжна Мстиславская, обходившая гостей с кубком — все это особенное, ни на что ранее виденное не похожее — живое, в старую Москву переносящее. И, наконец, сам герой дня, молодой, никому тогда еще неизвестный Москвин — царь Федор — «я царь, или не царь?» — первый неврастеник на русском троне, обаятельный и несчастный, родственник «идиота» Достоевского, дальний предшественник несчастного царя Николая. Не-охотники так и впились в спектакль. Охотники сидели в глубине, посмеивались. В антракте публика аплодировала, но выходить на вызовы в этом театре не полагалось.

— Хо-хотят все по особен-ному, — говорил Мошнин. — Стани-сславский — Алексеев, он сам с Таганки, Хи-вы, купеческого рода, но б-большой чудак.

— Пойдемте, тезка, лучше пиво допивать, говорил отец. — А актеры пусть доигрывают. Вы мне ружья нового еще не показали, где левый ствол чок-бор.

И охотники ушли допивать пиво, а нам, оставшимся, показывал «большой чудак» Яузский мост с нищими и слепым певцом-гусляром. Толпился народ, вели на казнь Шуйского, окруженного стрельцами. Сторонники Шуйского пытались его отбить, стрельцы одолевали. Бабы целовали руки своему герою, прощались с ним. Опять это было совсем не то, к чему привыкли мы в Малом театре, или у Корша (не говоря уже об опере).

* * *

Вот что рассказывает сам Станиславский о первом представлении «Царя Федора»: «Стараясь подавить в себе смертельный страх перед грядущим, представляясь бодрым, веселым, спокойным и уверенным,

я перед третьим звонком обратился к артистам с ободряющими словами главнокомандующего, отпускающего армию в решительный бой. Нехорошо, что голос мне то и дело изменял, прерываясь от неправильного дыхания... Вдруг грянула увертюра и заглушила мои слова. Говорить стало невозможно, и ничего не оставалось сделать, как пуститься в пляс, чтобы дать выход бурлившей во мне энергии, которую я хотел тогда передать моим соратникам и молодым бойцам. Я танцевал, подпевая, выкрикивая ободряющие фразы с бледным, мертвенным лицом, испуганными глазами»...

* *
*

Картина получилась, вероятно, «достойная кисти Айвазовского». Действительно чудак, — но чудак оказался особенный, перворазрядный, создатель лучшего русского театра. А в тот вечер, 14 октября 1898 года, режиссер Александров с позором изгнал его со сцены.

«Константин Сергеевич, уйдите! Сейчас же! И не волнуйте артистов»...

«Мой танец прервался на полужесте, и я, изгнанный и оскорбленный в своих режиссерских чувствах, заперся у себя в уборной». Горько ему было, что вот он столько сил отдал этому спектаклю, а его гонят, точно постороннего!

Но своим «Художественно-Общедоступным» театром заварил Станиславский кашу. Успех был большой, очень бурный. Отцы и дети разделились. Отцы или оказались холодны (как мой, напр., любивший литературу, но театр находивший вообще слишком «преувеличенным» и «театральным») — или прямо враждебны, особенно поклонники Малого театра. Мы — т. е. студенты, барышни, разные молодые экзальтированные дамы, затем все интеллигенты-провинциалы (без «традиций» театральных), сразу театром пленились. Вот именно его п о л ю б и л и, как любили тогда Чехова, некую особую линию в московской — и общерусской — культуре.

* *
*

В том же сезоне шел «Потонувший колокол» Гауптмана — мы смотрели его из той же литерной ложи. Бурджалов гоготал лешим, М. Ф. Андреева носилась по сцене феей Раутенделейн. Отец из ложи довольно громко и весело задавал ей разные вопросы — приходилось его унимать: и в конце концов все-таки не досидел, ушел сговариваться о лосиной славе с Мошниным и Милюковым. А колокол на сцене вызванивал что полагается.

Но «Потонувший Колокол» не был боевым спектаклем. Боевою оказалась чеховская «Чайка». Она дала лицо театру, окончательно завоевала Москву.

История этой «Чайки» известна: предварительный провал в Александринском театре, колебания Художественного — большое желание Немировича-Данченко поставить пьесу и некое сопротивление (вначале) Станиславского. У самого Чехова, как раз, обострился туберкулез, близкие очень боялись, что неуспех пьесы может совсем дурно на него повлиять — приезжала даже в Москву Мария Павловна, настаивала на отмене спектакля. Но спектакль был театру необходим — и решили рискнуть...

Чуть не сорок лет тому назад мы с сестрой, в юной компании, без взрослых, сидели в ложе бенуара справа — в обыкновенной ложе, сообща купленной. Ни о каких волнениях автора и театра не знали. Даже не знали, что пьеса провалилась уже в Петербурге (у нас Москва, мы только своим интересуемся). Занавес поднялся — на сцене полутемно, какой-то парк, прямо перед зрителем скамейка. Говорят и ходят довольно странно какие-то люди. Наконец, выясняется, что молодой писатель, нервный и непризнанный, ставит тут же, в саду, свою декадентскую пьесу. Молодая актриса, закутанная в белое, читает нечто лирико-философическое о мировой душе... На скамье сидят зрители — спиною к публике...

Все это по началу показалось очень уж причудливым. Публика молчала, в недоумении. Но чем дальше шел первый акт, тем сильнее сочилось со сцены особенное что-то, горестно-поэтическое, сжимающее сердце. Что? Не так легко и определить. Внесловесное, может быть, музыкальное — но некая в л а с т ь шла оттуда — зрительный зал подпадал сладостному наркозу искусства. Как удалось уловить «им» внутренний звук пьесы, ее стон, ритм? Это уж загадка художества, живого и органического, т. е. очень таинственного дела. Пьеса, как говорят в театре, «дошла». Занавес опустился. Зрительный зал молчал. За сценой актеры умирали со страху. Одна из актрис упала в обморок.

Молчание зрителей было плодоносное, самое дорогое для театра: настолько сильно впечатление и волнение, что не сразу и вырывается в аплодисмент. Зато вырвавшись, долго не смолкает.

... Нечего актрисе было падать в обморок. Первый акт имел огромный успех — он и нарастал до самого конца.

* *
*

В «Чайке» театр показал основные свои черты: единство спектакля, его музыкальную цельность, как бы оркестровый характер. Показал и основное ядро своих сил.

Играли: сам Станиславский, Лужский, Вишневский, Артем, Книппер, Лилина. Все это — будущая слава театра, художники, которым предстоял живой, естественный рост. Чудесного Артема, к сожалению, нет уже в живых, нет и Лужского, остальные здравствуют, напоминая собой о прекрасных, героических временах московского театра.

Странна судьба двух участников первого представления «Чайки» — Мейерхольда и Роксановой.

Мейерхольд играл отлично — неудачника. Треплев-Мейерхольд стреляется по пьесе. Нервное, и одаренное, и *недооодаренное* дал Мейерхольд в этой фигуре: сыграл как бы себя самого. Черты талантливости без некоего «Божьего благословения», нервность без влаги, головная, сухая возбужденность и неспособность к творчеству органическому, из почвы, подсознания идущему — это, кажется, и есть Мейерхольд. Он ушел довольно скоро от Станиславского. Как актер, ничего не дал. Как режиссер, обнаружил много и выдумки, и изящества — прямо даже дарования («Балаганчик» Блока — замечательная постановка). Но, в общем, неблагодатность и бесплодие определили путь этого незаурядного человека. Он стал врагом Станиславского, врагом Москвы, корней, истинных соков русской земли. В жилах его будто не кровь, а клюквенный сок блоковского «Балаганчика». Как многие неудачники и полунеудачники примкнул сразу, с бешенством и яростью к коммунизму. Сделал одну-две интересных постановки и прославился «переделками» (искажениями) классических пьес. Сейчас, кажется, и у советской власти не в почете*)... А во всяком случае: как был, так и остался в безвоздушном пространстве.

Роксанова... — Станиславский, в воспоминаниях, перечисляет актрис, выдвинувшихся в «Чайке». (Книппер и Лилина). О Роксановой — самой Чайке — не сказано. И не мог он сказать: она просто плохо играла. Единственный слабый пункт пьесы — сама Чайка! В тех же воспоминаниях говорится, что Чехов был в отчаянии от «одной актрисы»... Он даже требовал, чтобы у ней взяли роль. Она тоже не удержалась в театре, не прижилась в нем. Какова ее судьба дальнейшая, не знаю.

... Не она ли и упала в обморок после первого акта? Если да, то о пьесе ошиблась, а о себе — нет.

*) Строки эти были написаны до гибели Мейерхольда от руки Советов. Как именно он погиб, в точности не знаю.

Леонид Андреев

Кажется, в жизни Андреева (писательской, а может быть и личной) годы 1901—1906 были самыми полными, радостными, бодрыми. Все его существо летело тогда вперед; он полон был сил, писал рьяно; несмотря на самые мрачные «Бездны», на «Василия Фивейского» — полон был надежд, успехов, и безжалостная жизнь не надломила еще его. Он только что женился на А. М. Виельгорской, нежной и тихой девушке. Светлая рука чувствовалась над ним. На его бурную, страстную натуру, очень некрепкую, это влияние ложилось умеряюще. Слава же росла, шли деньги; Андреевы жили шире; давно была оставлена квартирка на Владимиро-Долгоруковской, где мы познакомились. Квартиры становились лучше; появился достаток. Часто люди бывали, чтения. В те времена процветал в Москве литературный кружок «Среда». По средам собирались у Н. Д. Телешова, у С. С. Голоушева и у Андреева. Бывали: Бунин Иван, Бунин Юлий, Вересаев, Белоусов, Тимковский, Разумовский и др. Из заезжих: Чехов, Горький, Короленко. Бывали и Бальмонт и Брюсов. Каждый раз что-нибудь читали. Много прочитал Андреев — думаю, всех больше. Он читал сдержанно, несколько однообразно, иногда поправляя густые волосы, свешивающиеся на лоб; в левой руке папироса; иногда помахивал ею в такт, и из-под опущенного лба вдруг быстро взглядывал горячими своими глазами.

Меня наверно он гипнотизировал. Мне все нравилось, и безраздельно, в нем и его писании. В спорах о прочитанном я всегда был на его стороне. Впрочем, и вообще он имел тогда большой успех, очень всех возбуждал, хотя образ его писаний мало подходил к складу слушателей. Но на «Среде» держались просто, дружественно; дух товарищеской благожелательности преобладал. И тогда даже, когда вещь корили, это делалось необидно. Вообще же это были московские, приветливые и «добрые» вечера. Вечера не бурные по духовной напряженности, несколько провинциальные, но хорошие своим гуманитарным тоном, воздухом ясным, дружелюбным (иногда очень уж покойным). Входя, многие целовались; большинство было на т ы (что особен-

но любил Андреев); давали друг другу прозвища, похлопывали по плечам, смеялись, острили, и в конце концов, по стародавнему обычаю Москвы, обильно ужинали.

Можно сказать: Москва старинная, хлебосольная и благодушная. Можно сказать и так, что писателю молодому хотелось больше молодости, возбуждения и новизны. Все же свой, великорусский, мягкий и воспитывающий воздух «Среда» имела. Знаю, что и Андреев любил ее. А судьба решила, чтобы из членов ее он ушел первый — один из самых младших.

Иногда я ходил к нему по утрам — это значит, о чем-нибудь хотелось говорить; как порядочный писатель русский, он вставал поздно; как москвич — бесконечно распивал чаи, наливал на блюдечко, дул, пил со вкусом; к приходившему относился с великим дружелюбием. Может быть и нехорошо было идти к человеку утром; может быть и необязательно разговаривать так много; все же вспоминаешь с удовольствием об этих утренних русских разговорах где-нибудь на Пресне, при белом снеге с улицы, деревцах вдоль тротуаров, низком лете ворон с веток на крышу дома. Говорили о Боге, смерти, о литературе, революции, войне, о чем угодно. Куря, шагая из угла в угол, туша и зажигая новые папиросы, Андреев долго, с жаром ораторствовал. Говорил он неплохо. Но имел привычку злоупотреблять сравнениями и любил острить. Юмор его был какой-то странный: и была в нем эта жилка, и чего-то не хватало. И во всяком случае, в его писании юмор несвободен. Он не радует.

В три Андреев обедал, а потом ложился спать, черта не европейская, как и во всем был он весьма далек от европейца. (Носил поддевку, а позднее ходил в бархатной куртке. Среди «передовых» писателей была у нас тогда мода одеваться безобразно, дабы видом своим отрицать буржуазность). Проснувшись вечером, часов в восемь, спять пил крепкий чай, накуривался и садился на всю ночь писать. Тут он разогревался; голова накалялась, и легко, непроизвольно родила образы страшные, иногда чудовищные. Писание было для него опьянением, очень сильным; в молодости, впрочем, он вообще пил; и, как рассказывал, наибольшая радость в том заключалась, что уходил мир обычный. Он погружался в бред, в мечты; и это лучше выходило, чем действительность. Студентом, после попойки, в целой компании друзей, таких же фантасмагористов, он уехал раз, без гроша денег, в Петербург; там прожили они, в таком же трансе, целую неделю; собирались даже чуть не вокруг света.

Неудивительно, что писания утреннего, трезвого, как и вообще дисциплины, он не выносил. Ночь, чай, папиросы — это осталось у него, кажется, на всю жизнь. Иногда он дописывался до галлюцинаций. Помню его рассказ, что когда он писал «Красный смех» и поворачивал голову к двери, там мелькало нечто, как бы уносящийся шлейф женского платья. Бредовое писание не было для него выдумкою или модой: такова вся его натура. Его развязанное подсознание всегда стре-

милось в ночь, таков его характер; но устремление это было подлинное, и его не без основания ставили рядом с Эдгаром По, которого он знал, любил. Он нравился ему за то, что говорил о Ночи.

Андреев сам чувствовал Мировую Ночь, и ее выразил — писанием своим.

Но не надо думать, что эта Ночь им вполне владела. Я уже говорил, что был в Андрееве мягкий орловец, он любил теплый домашний быт, никогда в нем не умирала жилка московского студента легендарных времен; он любил русское, нашу природу, пруды и влажные, благоуханные вечера после дождя в Царицыне (под Москвою, где он жил летом), белые березки и поля Бутова; любил закаты с розовыми облаками; да и в писании его кое-где, например в «Жили-были», есть и свет, и цветущие яблони, и славный дьякон. Я вспоминаю о нем часто и охотно так: мы идем где-нибудь в белеющем березовом лесочке в Бутове. Май. Зелень нежна, пахуча. Бродят дачницы. Привязанная корова пасется у забора; закат алеет, и по желтой насыпи несется поезд в белых или розовеющих клубах. С полей веет простором и приветом родной России. Мы же идем легко, быстро, и говорим взволнованно. Вот он меня провожает на платформе — в своей широкополой, артистической шляпе, в какой-нибудь синей рубашке, с летящим галстуком, с возбужденными, черно-блистающими глазами. Это оживление и возбуждение так молодит! И так хороша молодость пылкими разговорами, одушевлением, легкой влюбленностью. Поезд, зарей вечерней, летит в Москву; смотришь в окно, вновь переживаешь пережитое, и дома, возвратясь, заснешь не сразу.

При мне Ночь, которую так чувствовал Андреев (и оттого на Бога восставал, много шумел) — эта Ночь впервые на него дохнула. В 1906 году умерла его жена, от родов, в Берлине. Мы хоронили ее в Москве, в Новодевичьем, при жестокой стуже. Андреев же остался за границей. Из Германии попал на Капри. Жил там тяжко, бурно. Вот отрывок из его письма, 9 января 1907 г. «Для меня жизнь так: несколько людей, которых я люблю, а за ними города, народы, поля, моря, наконец, звезды, и все это чужое. И если бы все люди, немногие, кого я люблю, вдруг умерли бы, или забыли меня — я оглянулся бы и завыл бы от ужаса и одиночества». Далее говорит, что хорошо, если бы мы с женой приехали туда, и прибавляет вновь:

«Здорово я тут один, несмотря на Горького. С вами бы я мог говорить о смерти Шуры, постараться понять ее».

Мне и пришлось встретиться с ним в Италии, в мае того же года; но говорить о том, о чем он писал, не случилось. Перебирая его письма, я наткнулся на открытку во Флоренцию: «Еду из Неаполя в Берлин безостановочно, так что во Флоренции можем увидаться только на минутку на вокзале... Пожалуйста, приходи с Верой хоть на минутку!» Это «хоть на минутку!» и сейчас колет сердце: вот и не увидишь его больше, даже «на минутку!»

Мы с женой в светлый, жаркий флорентийский вечер вышли встретить его, принесли букет роз красных (ими полна благословенная Флоренция). В грохоте, с пылью, влетел на скромный вокзал международный экспресс, из первого класса выскочил тот же Андреев, в широкополой шляпе, с летящим галстуком, в артистической бархатной куртке, как знавал его я в Бутове, в Москве. Как и тогда, он ни слова не знал «по-заграничному»; в купе оказалась матушка его, — ни себе, ни ей за весь день он не мог достать стакана чая. Матушка охала. Сам он задыхался от жары в бархате своем, но глаза его так же блестели, как и в былые годы. Он нюхал наши розы; говорили мы быстро, бестолково, ибо некогда было, и через несколько минут он махал нам букетом из окна поезда уходящего. На мгновение я его увидал, и снова забурлил и загромыхал европейский экспресс, унося людей московско-орловских. А сейчас, вспоминая те семнадцать лет, что знал Андреева, я чувствую, что рядом с бесконечностью, нас разлучившею, те года, куда легла чуть ли не вся его художническая жизнь, — не длинней краткой минутки на вокзале во Флоренции, в знойный, чудесный итальянский вечер.

С этого года Андреев переехал в Петербург. Может быть, тяжело ему было заводить в Москве прочную, оседлую жизнь. Его душевное настроение было бурно-мрачное, с какими-то срывами. Перегорало горе, разъедало. Но натура живая, страстная гнала вперед. Он никак еще не знал, что сделать, как наладиться. «Опять с некоторого времени», пишет он от 17 августа 1907 г., «день мой, каждый мой день и каждая ночь — до краев налиты тоской. Что делать, я не знаю, ибо убивать себя не хочу, в сумасшедший дом тоже не хочу, а жизнь не выходит, а тоска, поистине, невыносимая. И все о том же, о той же — Шуре, о ее смерти. Отпустила было не на долгое время, а теперь снова гвоздят одни и те же мысли и сны. Сны! Ужасная, брат, вещь эти сны, — в которых она воскресает и всю ночь поит меня дикою радостью, а на утро уходит».

В Москву он наезжал довольно часто. Нередко останавливался в «Лоскутной», вблизи Иверской и Исторического музея. Живший там П. Д. Боборыкин не без ужаса рассказывал: «представьте, я встаю в шесть утра, к девяти поработал уже; а о н в девять только возвращается». Петр Дмитрич, никогда за полночь не ложившийся, пивший минеральные воды, носивший ослепительные воротнички, и наш Леонид Андреев... О, Русь!

В это время помню я Андреева всегда на людях, в сутолоке, с интервьюерами, в угаре. Это был год, когда впервые он вступил на путь театра, — путь, давший ему славу еще шумнейшую, но и тернии очень острые. «Жизнь Человека» была первая его символическая трагедия, в чертах схематически-условных обнимавшая жизненный путь и судьбу «человека вообще». Это вещь роковая для него. Можно ее любить или не любить; но с душевной, и писательской, и человеческой судьбой Андреева связана она неразрывно. В ней кончился один период,

начался другой. Кончилась молодость Андреева, возросла схема, патетизм, и яснее означился надлом в душе его. В ней есть и нечто пророческое о самой жизни автора — если пророчественность понимать широко. Умер Леонид Андреев не так, как погибает Человек, и в бедность не впал, но некоторый наклон жизни своей почувствовал.

«Жизнь Человека» имела крупный успех — в Москве в Художественном, в Петербурге у Мейерхольда. Андреев более и больше увлекался театром. И более и больше укреплялся в Петербурге. Стал очень близок сильно успевавшему издательству «Шиповник», в альманахах издательства слыл гвоздем. «Шиповник» же издавал его книги. К нам, к «Москве», он питал чувства дружественные по-прежнему; когда бывал, сам читал свои пьесы, или присылал читать рукописи на «Средах». Но находил, что Москва это «милая провинция», благодушная и теплая. Ему казалось в Петербурге попрохладней и построже. Ему казалось, что воздух севера, воды Финляндии, ее леса и сумрак ему ближе, чем березки Бутова. Верно, что в «Жизни Человека» не было уж места для березок. Все-таки обращать Андреева, русака, бывшего московского студента в мрачного отвлеченного философа, решающего судьбы мира в шхерах Финляндии с помощью Мейерхольда, было жаль. Никто не вправе сказать, каким должен был быть путь его. Ему виднее было самому. Но можно, кажется, заметить, что его натура не укладывалась вся в Финляндию и Мейерхольда.

С весны 1908 г. он поселился на своей даче у Райволы, на Черной Речке. Эта дача очень выражала новый его курс; и шла, и не шла к нему. Когда впервые подъезжал я к ней летом, вечером, она напомнила мне фабрику: трубы, крыши огромные, несуразная громоздкость. В ней жил все тот же черноволосый, с блестящими глазами, в бархатной куртке, Леонид Андреев, но уже начавший жизнь иную: он женился на А. И. Денисевич, заводился новым очагом, был полон новых планов, более грандиозных, чем ранее, и душа его была смятена славой, богатством, жаждой допить до конца кубок жизни — кубок, казавшийся теперь неосушимым. Обстановка для писателя (в России) — пышная. Дача построена и отделана в стиле северного модерн, с крутою крышей с балками под потолком, с мебелью по рисункам немецких выставок.

Мы много говорили, очень дружественно, мне хорошо было с Андреевым, но жилище его говорило о нецельности, о том, что стиль все-таки не найден. К стилю не шла матушка из Орла, Настасья Николаевна, с московско-орловским говором; не шли вечные самовары, кипевшие с утра до вечера, чуть не всю ночь; запах щей, бесконечные папиросы, нервность, мягкая развалистая походка хозяина, добрый взгляд его глаз, многие мелочи. Правда, стремление к грандиозу находило некое применение: нравилось смотреть с башни в морской бинокль на Финский залив, наблюдать ночью звезды. Но как раз рано утром следующего дня, проснувшись в боковой комнате для гостей, не совсем еще отделанной, я услыхал, как двое маляров, снаружи мале-

вавших на подмостках, напевали неторопливо простую, славную нашу песню. Вот в ней — земля Москвы, березки Бутова, поля Орла. И нет Финляндии. Нет майоликовых отделок, матовых кубов, нет модерна. Нет и «Жизни Человека».

На этой новой даче написал Андреев: «Царь — Голод», «Черные Маски», «Анатэму», «Океан» и другое. Хорошо было удалиться из столицы, но это не было удалением в Ясную Поляну, столица перекочевала к нему в самом суетном и жалком облике; взвинчивала, гнала к успеху, славе, шуму и обманывала. Кто не любит обольщения успеха? Андреев жадно его вкусил и не мог уже забыть; не мог уже жить, чтобы о нем не писали, не шумели, не хвалили. Не знаю даже, мог ли он теперь писать лишь для себя, вне публики. Он ненавидел публику и поклонялся ей. Он презирал газетчиков, освободиться же от них не мог. Для славы нужны были журналисты, налетавшие роями, которым он рассказывал о своей жизни, замыслах, писаниях; сердился, что рассказывает, а на завтра вновь рассказывал. Они печатали нелепые интервью, раздражавшие друзей Андреева, а врагам дававшие материал для издевательств. Вся эта чушь газетная, в море вырезок с отчетами о пьесах, отзывами, критиками, бранью, клеветой, заметками, каждый день притекала к нему и одурманивала душу. Вряд ли чувствовал он себя хорошо. Тем более, что все настойчивее в критике твердили об упадке его дарования.

За всей этой горькой мишурой, у него был и свой мир. Вот что говорит он в письмах этого периода о второй действительности. «С каждым уходящим годом я все равнодушней к первой действительности, ибо в ней только я раб, муж и отец, головные боли и с прискорбием извещаем. Сама природа, — все эти моря, облака и запахи я должен приспособить для приема внутрь, а в сыром виде они слишком физика и химия. То же и с людьми: они становятся интересны для меня с того момента, как о них начинает писаться история, то есть ложь, то есть все та же наша единственная правда. Я не делаю из этого теории, но для меня воображаемое всегда было выше сущего, и самую сильную любовь я испытывал во сне. Поэтому я, пока не сделался писателем и не освободил в себе способности воображения, так любил пьянство и его чудесные и страшные сны».

Флобер, столь бесконечно далекий от Андреева, говорит где-то в письме: la vie n'est supportable qu'en travaillant, и правда, одурманивал себя работой. Для Андреева, как писателя настоящего, смысл этих лет, годов зрелости, так же, видимо, сводился к работе, как наркозу, уводящему от скучной действительности. «Сколько скучных дней и просто неинтересных людей в первой действительности! А в моей все дни интересны, даже дождливые, и все люди интересны, даже самые глупые. Сейчас за окнами моросит, просто моросит, и нет ничего, кроме просто мокрой Финляндии и озноба в спине, — а начни описывать, и получится интересно, явится настроение; и чем правдивее я буду изображать, тем меньше останется правды. Ибо само слово

принадлежит ко второй действительности, само по себе оно картина, рассказ, сочинение».

Впрочем, он оговаривается: не вся действительность презренна.

...«Не скажу даже, чтобы я был прав, так настоятельно и убежденно предпочитая воображаемое сущему, и если устроить между ними состязание, то окончательная, последняя красота будет на стороне последнего. Но такая красота — моменты, далеко разбросанные в пространстве и времени. Не только собрать, а можно прожить всю жизнь и ни одного не встретить. Немало на свете красивых людей, а расстояние между ними — словно между звездами; и один еще не родился, а другой давно умер. Пусть даже живет, но или он далеко бесконечно, либо говорит на другом языке, либо я совсем не знаю о его существовании. Ведь все эти, кого мы любим и считаем настоящими друзьями, Данте, Иисус, Достоевский существуют только в воображении нашем, во второй действительности, во сне».

В первой же действительности, несмотря на славу, деньги, шум и суету вокруг, вряд ли Андреев чувствовал себя теперь хорошо. Он не производил такого впечатления. Во всяком случае, видимо, становится он одиноче. О дружбе, о «мужской, крепкой, глубокой, серьезной дружбе» он говорит теперь с горечью. («Как странно звучит слово «дружба» — ты помнишь, что оно означает? Я забыл». 8 июля 1909 года). И еще: ...«Заметил ли ты... что дружба ранняя ягода и приходит прежде других? Любовь, как тень, сопровождает, пока есть свет, а для новой дружбы положен ранний предел. И если не захватил друга из юности, то нового не жди; да и старого-то не удержишь. И не случайность для меня, что кончилась моя дружба с Горьким — все писатели дружат в юности, а со зрелостью приходит к ним неизбежное одиночество. Так оно и надо, пожалуй (23 июня 1911 г.).

Кажется, за эти годы Леонид Андреев и действительно новых друзей не приобрел, а от старых отдалился, находясь в Финляндии. Кажется, жизнь его там ограничивалась кругом (важнейшим, разумеется) — семьи. В Москве он появлялся редко. В Петербурге литературных друзей и всегда у него было мало; а в литературе критической к нему относились теперь дурно. Вообще же в его литературной судьбе много русского: безудержное возношенье, столь же беспощадная брань. Ни шум, ни гонорары, ни интервью не могли скрыть резкого охлаждения к нему публики. Та исключительность его, что раньше восторгала, теперь сердила. Чем громче он старался говорить, тем раздраженней слушали. И за короткий срок своих удач и поражений мог бы вспомнить покойный слова Марка Аврелия: «судьба загадочна, слава недостоверна». Или же обратиться к собственной «Жизни Человека».

За это время мало приходилось его видеть. Доходили временами письма, но все реже. Я знал, что он обрился, что завел лодку моторную и скитается по шхерам. Мореходские инстинкты пробудились в нем внезапно; нравились брызги, пена, шум ветра, одиночество. Быть

может, нечто байроническое мерещилось ему в этих одиноких блужданиях. Вызов жизни, людям, гордость, честолюбие надломленное.

Я видал его в последний раз в Москве, осенью 1915 года. Шла его пьеса «Тот, кто получает пощечины». Вряд ли она удача; вряд ли совершенна, как и вообще мало совершенного оставил Леонид Андреев. Хаос, торопливость и несдержанная пылкость слишком видны в его писании. Но как и во всем главнейшем, что он написал, есть в этой пьесе андреевское, очень скорбное, сплошь облитое ядом горечи...

Тяжкая душа, израненная и больная, мне почувствовалась и в самом авторе. Это иной был Андреев; не тот, с кем философствовали мы некогда на Пресне, бродили в Бутове. Надлом, усталость, тяжко бьющееся сердце, тягостная раздраженность. И лишь глаза блестели иногда по-прежнему.

— Пьесу испортили, — говорил он. — Сгубили. Главная роль не понята. Но посмотри — он указывал на ворох вырезок, — как радуются все эти ослы. Какое наслаждение для них — лягаться.

Он уехал в Петербург смутный и подавленный, хоть иногда и много смеялся и острил. Мы же, прощавшиеся с ним тогда в Москве, его немногие друзья, вряд ли угадывали будущее, вряд ли и думали, что живого, настоящего Андреева, в бархатной куртке и с черными глазами, не «сон» и не «мечту» второй действительности, — нам уже не увидеть.

И мне трудно говорить об этих заключительных годах земного странствия Андреева.

Знаю только одно: с октября 1917 г. он не возвращался даже в Петербург, жил в Финляндии. Революция задела его чрезвычайно. Он ее проклял. Пережить ее ему не удалось. Он скончался в сентябре 1919 г. от припадка сердца — сердце у него всегда было больное и нервное.

Когда мысленно я вызываю образ Андреева, он представляется мне молодым, чернокудрым, с остроблистающими, яркими глазами, каким был в годы Грузин, Пресни, Царицына. Он лихорадочно говорит, курит, стакан за стаканом пьет чай где-нибудь на террасе дачи, среди вечереющих берез, туманно-нежных далей. С ним, где-то за ним, тоненькая, большеглазая невеста в темном платье, с золотой цепочкой на шее. Молодая любовь, свежесть, сиянье глаз девических, расцвет их жизни.

И наверно не могу я говорить с холодностью и объективностью об Андрееве, ибо молодая в него влюбленность на всю жизнь бросила свой отсвет, ибо для меня Андреев ведь не просто талант русский, тогда-то родившийся и тогда-то умерший, а, выражаясь его же словами, м и л ы й п р и з р а к, первый литературный друг, литературный старший брат, с ласковостью и вниманием опекавший первые шаги. Это не забывается. И да будут эти строки, сколь бы бедны они не были, дальним приветом чужестранной могиле твоей, Леонид.

Сергей Глаголь

— Да вот что, — сказал Андреев, блестя своими черными, удивительными глазами: — вы зайдите к Сергеичу, обязательно! Надо познакомиться. И ваш рассказ у него. Сборник редактирует он, я и Тим-Тим (Тимковский).

Андреев дал мне письмецо, и я отправился. Сергей Сергеич Голоушев, среди друзей «Сергеич», по литературе Сергей Глаголь, жил в Хамовниках, в месте странном: помещении Хамовнической части! Был он полицейский врач и занимал квартиру во втором этаже, с окнами на площадь.

Я попал к нему во врачебный кабинет. Мягкая зеленая мебель, книги, картины, жуткий гинекологический эшафот, машина с кругом, беспорядок, сумеречно-синеватый свет из окна, откуда белел снег и над снегом, над каланчей, тучею галки — за бархатной портьерой плесканье воды в умывальнике.

Потом оттуда выглянул высокий, очень стройный и широкоплечий человек в ослепительной рубашке и, вытираясь полотенцем, откинувши назад длинные волосы движеньем головы, пристально добрыми глазами на худощавом, в морщинах, лице взглянул на меня.

— А-а, душка, знаю. Садитесь, сейчас разговаривать будем.

Так, зимними сумерками, в Москве очень далеких лет, началось мое знакомство, перешедшее скоро в дружбу, со всему городу известным «Сергеичем». Через десять минут казалось уж, что он мне родственник, такая простота, открытость и широкий жест, чуть и картинный, были в нем. Конечно, к нему можно с чем угодно прийти — и с болезнью, и с рассказом, и с картиной — чем только не занимался Сергеич?

В юности, сидя на козлах, мчал Веру Засулич из суда в карете, спасая ее. Побывал в «местах не столь отдаленных» ссыльно поселенцем. Политическую «левизну» свою там и оставил. Занялся живописью. Дружил с Серовым, Левитаном и Коровиным. В Третьяковской

галерее есть его этюд лошади. Стал писать. Лечил дам. Статьи печатал и о живописи, о театре, о литературе. В том же сборнике, из-за которого я пришел к нему, был и его рассказ — не хуже других. Он интересовался психиатрией, был друг всех Россолимо и Токарских, яростно превозносил Андреева, работал по гравюре и офорту — что-то изобрел даже в этом деле. Жил холостяком. Всегда к кому-нибудь пылал. Да женщинам и не мог не нравиться, если б и захотел — что-то изящное и суховато-мужественное в нем было, и безупречное, и бескорыстное. Он много говорил, слегка даже витийствовал, то собирал, то распускал морщины на остроугольном лице и широким жестом откидывал волосы седеющие. Но как принять его за старика! Вот, умер старым, в памяти остался молодым.

Он был душой «Среды». Для меня, только что принятого, эти собрания, в частности дом Сергеича, навсегда связаны с первыми литературными шагами, первыми встреченными писателями, первыми чтениями — в полутемном кабинете Сергеича, под бледным кругом лампы с зеленым абажуром, перед старшими художниками дела нашего, некоторые из которых вызывали восхищение и жуткое волненье. Очень страшно так читать, впервые, не забудешь... Небольшая, полная этюдов Васнецова, Поленова, Левитана квартира Сергеича наполнялась, сидели и в гостиной под какими-то персидскими щитами, у бухарских копий, в кабинете на гинекологическом ложе, спорили о символистах, декадентах (тогда модный спор), быте, реализме и т. п. А потом слушали — очень часто читал Андреев. Реже Бунин, Телешов, я и другие. Кончалось все ужином. Сергеич сам готовил удивительнейшую селедку, хоть бы в «Прагу». Разные водки в графинчиках, пироги, грибы, заливные... вообще Москва — то русское тепло, и тот уют, немножко лень, беспечность, «миловидность», что и есть старая Русь.

Расходились поздно. По скрипучему снегу, под холодными звездами шли пешком, хохотали, досказывали недосказанное, дразнили друг друга. Иногда старый писатель Гославский, с серебряной бородой — его звали Богом Саваофом за торжественный вид — сильно подвыпив, начинал бранить кого-нибудь, меня, например, — неизвестно за что. Звали Ваньку, усаживали Гославского, кто-нибудь вроде безответного Ивана Алексеича Белоусова, в хохлацкой шапке и шевченковских усах и увозил его.

Сергеича я полюбил скоро и крепко. Да и как было не любить этого славного и такого открытого — весь нараспашку — «прелестника» из Хамовников? Он был мне старший, вроде дядюшки и заступника. Если какая беда, затруднение или болезнь, он тут как тут, зимой в серой мерлушковой шапке, всегда живой и картинный, многоречиво-приветливый. Правда, он больше сам говорит. Слушает неохотно, рассеянно. Чувствуешь, что только скользит по нем...

На «Среде» мы с ним и Андреевым были «крайняя левая», т. е. защитники символистов: тогда здесь и был «ключ позиции». Сергеича же и вообще постоянно тянуло к новизне, молодости. Наша «Среда»

была весьма пожилая, степенная. Это его не вполне насыщало. И он водился с художниками младшего возраста. (Например, с Петровым-Водкиным, тогда юношей. И, разумеется, покровительствовал ему). Милая странность Сергеича в том состояла, что никак не будучи «инфернальным», он очень любил в литературе всякие «бездны», «тайны», достоевско-андреевское... и для чего это ему надо было? Весь он так хорош был простосердием и чистодушием, а любил «жуть». В тех долгих годах, что я его знал, за эту самую жуть он меня много бранил. Ему нравились, он всегда защищал мои «мрачные» вещи, а другую сторону писанья — не одобрял.

— Зайчик, — говорил, как обычно откидывая рукой волосы, глядя из-под пенсне серыми, живыми глазами из глубоких впадин, весь вытягиваясь сухим, остро-изящным лицом, всегда напоминавшим мне симпатичного пса, — душка, ты опять мармелад свой развел?

И щелкал пальцем по книжке.

— Ты мне дай, чтобы с жутью... Понимаешь, писатель, вот как Леонид, он должен опускаться вглубь, в психологию, и разворачивать перед нами тайны и провалы души...

Я улыбался, частью виновато, частью безнадежно: что же делать, каждый пишет по-своему. И если быть вполне искренним, то в делах своего ремесла (или искусства?) и я слушал Сергеича не очень внимательно, как славного дядюшку, но не как м э т р а. Для мэтра был он слишком поверхностен, слишком м е ж д у п р о ч и м в нашем занятии, которому или всего себя надо отдать, или уж за него и не браться.

В Сергеиче была какая-то неаккуратность и забывчивость, барски-просторная рассеянность. Это касалось, впрочем, мелочей. Если ж в беде нужна поддержка, нужно через всю Москву ехать к больному — этого Сергеич никогда не забывал. Много людей московских, из которых первый я, добрым словом помянут бессребреника.

А жизнь его была полет сумбурный, в этом основная черта натуры: не было центра, точки, куда била бы вся сила его существа. Дилетантизм — вот слово, говорящее о несобранности души, о ее некотором распылении. Сергеич все умел делать, от гинекологии до гравюры, и все делал даровито, з а м е ч а т е л ь н о же ничего сделать не мог, ибо безраздельно ничему не отдавался. Его след не начерчен в истории ни одной из тех деятельностей, коими он занимался. В нем, в его вкусах, жестах, картинности, доброй беспорядочности — Русь, Москва.

Бедный Сергеич! На его закатные дни легла страшная лапа истории. Узнал бывший студент в плаще семидесятых годов, спаситель Веры Засулич — на себе испытал новое царство. Сергеича в Москве взяла смерть — среди бедствий, голода, холода, и унижений. Тяжело вспоминать об этом. И как часто бывает, ущемляется сердце сознанием, что вот ушел человек, доброе от него брал как должное, а сам что давал? Мало дано, долг остался.

Литературный Кружок

Николай Николаевич Баженов — психиатр, гастроном, Дон Жуан, холостяк — с лицом жирным и заплывшим, маленькими глазками, с толстыми губами и огромным кадыком — он и водрузил клубно-литературное знамя над Москвой.

Считался парижанином (и парижским москвичем) — из Парижа вывозил галстуки, анекдоты, моды. Имел к литературе отношение — какое? Не совсем понятно: кажется, интересовался ею. И другие нашлись «интересующиеся»: актеры, литераторы, адвокаты, зубные врачи. Соединенными усилиями сложившись, подписавшись, соорудили в переулке с Тверской на Дмитровку свое учреждение. Начали скромно, а потом разрослись, даже в историю литературы в некотором смысле попали.

Рядом с Филипповым, с калачами и булками, с шумной кофейной (чуть не самой большой тогда в Москве), где заседали барышники, коммивояжеры, беговые жучки и прочее мелкое, но приличное население — открылся Литературный Кружок, начались его вторники. Они очень совпали с оживлением литературным: выступал символизм, появились молодые писатели особенного оттенка.

В «Скорпионе» Поляков («нежный, как мимоза») издавал Бальмонта, Брюсова, выпускал «Северные цветы», Кнута Гамсуна, Пшибышевского... „Homo sapiens" — кто из барышень не зачитывался этим романом? («Встал. Вскочил. Выпил рюмку коньяку» — через несколько строк: «Сел. Лицо искривилось гримасой. Выпил рюмку коньяку»). За мирного и прелестного гамсуновского «Пана» дочерей чуть не выгоняли из родительских домов (с Таганок, Сыромятников, «чтобы не зачитывались чепухой»). Впрочем... и Иван Бунин в «Скорпионе» выпустил «Листопад». А совсем юный Белый, тогда студентик голубоглазый — «Золото в лазури» и «Симфонии».

Но главенствовали Бальмонт и Брюсов. «Будем, как солнце», «Только любовь», «Горящие здания» — Бальмонта в Москве сразу при-

няли и полюбили (молодежь, конечно). Брюсова не любили, но вокруг себя он сумел создать некую «магическую» славу. Его боялись. И прислушивались к его теориям художническим. Он редактировал «Весы», тоже журнал скорпионский.

Революция так революция... В литературе она начиналась, хоть и благоразумно советовал Бальмонт поклонникам: «тише, тише совлекайте с древних идолов одежды». Молодежь есть молодежь. Благоразумием она не отличалась никогда. Идолов типа Потапенки и Боборыкина волокли не без жару, да и другим доставалось — во славу символизма и «декадентства».

Вот для этих сражений Кружок подоспел кстати. В небольшой зале Козицкого переулка, на эстраде, перед рядами зрителей, заседал в каком-нибудь кофейном жакете с красной бутоньеркой, в белых гетрах Николай Николаевич Баженов, — председатель, а Бальмонт читал, скажем, об Уайльде — тогда тоже новшестве и пугале — Бальмонт молодой, горячий, «златовласый» — читал остро и с задором. Главное задор. Он являлся непроизвольно, из ощущения, что говоришь о новом, спорном, что одни тебе будут яростно рукоплескать, другие свистать. И, действительно, зал разделялся. «Старшие» ужасались, молодежь ликовала. Получался отчасти митинг, но скорее веселый. Вот как описывает это летописец: «Благородные зубные врачи и статистики призывали к заветам, Некрасову, шестидесятым годам. Юноши в красных галстуках — к Уайльду. Публика свистала, это выводило из себя Лизавету, и она отколачивала себе ладоши. Черноглазая Зина тоже хлопала, хлопал и Петя, взволнованно улыбаясь, а солидные дамы вокруг пожимали плечами и выражали негодование. Впрочем, с Лизаветой шутки были плохи. Она оборачивала свое разгоряченное лицо, розовевшее гневом, и громко говорила:

— На дур не обращаю внимания!

— Браво, — хлопал Петя, — браво!

Случалось и так, что молодой человек, днем более или менее успешно заседавший в восьмом классе Поливановской гимназии, вечером появлялся на эстраде, в штатском, с демоническими начесами, демонически возглашал:

— Окунемся в освежающие волны разврата!

Не так особенно он окунался, и домашняя, довольно безобидная была тогда Москва, но так уж полагалось «устрашать» и «претерпевать за идею»: юноша, пожалуй, только что получил двойку, но зачитываясь Бальмонтом и Брюсовым, готов был отдаться на растерзание «мещанству», лишь бы не быть «как все» и чем-то о себе заявить.

«Когда Лизавета с Зиной влетали после чтения в ресторанный зал, вызывали они неблагосклонное шушуканье дам и сочувствие в мужчинах. Усиливалось это тем, что в городе говорили о тайном обществе козлорогов. Федюка бывал в клубе тоже, и как человек толстый, легкомысленный, не внушал доверия; а его считали гроссмейстером ордена, как Лизавету с Зиной — двумя «богородицами».

Общества, разумеется, никакого не было. Жила молодежь бойкой и веселой, может быть, и несколько распущенной жизнью, но обычной в возрасте этом: богемно, с бродяжничеством по кабачкам, романами и «выяснениями отношений», схождениями и расхождениями — а в общем, под крылышком папаш и мамаш, беззаботно, скорее всего в духе Бронных и Козих, усовершенствованных «декадентством».

Но, конечно, нравилось являться в Кружок компанией человек в десять — все с желтыми цветами.

— Вот оно, тайное эротическое общество! И в несуществующую «ложу» нарасхват стремились те, у кого желтых цветов не было (а как хотелось бы, чтоб были!)

* * *

В Козицком стало тесно. Дела шли хорошо — Кружок переселился — неподалеку, на Дмитровку, в особняк Востряковых. Востряковы сами жили на углу, тоже в хорошем доме, но главное свое палаццо, с полукруглым въездом во дворе, зеркальными окнами, нарядной лестницей с колоннами, белыми лепными залами, сдали Кружку. И Кружок въехал. Одного Баженова уж не могло хватить. Ставилось все на прочную ногу, с дирекцией, комиссиями — литературной, музыкальной и пр.

Появилась «материальная основа цивилизации» — карты. Сначала карточные комнаты были скромны, а потом сделали целую пристройку и открыли залу в розовых фресках под Мориса Дени, расставили огромные овальные столы и укрепили фронт. Старухи в бриллиантах, содержанки и актрисы, дельцы, врачи, инженеры и актеры заседали под туманно-нежным светом люстр, казавшихся им слаще солнца, за зеленым полем, погружаясь в мир валетов и девяток, дам, королей. Лица их принимали неживой оттенок. Вспоминаются зеленоватые люди, много лысин, жирных подбородков, толстых ушей, рук в кольцах с драгоценными каменьями, все это несколько и вялое (лишенное «света и воздуха»), но нервное и выключенное из жизни. Наверно, наркотическое есть в игре. Точно бы накурились опия. И их мир, живущий с нами рядом, все же особенный — сильно пьянящий и засасывающий (для них значит же сладкий). Были среди них и профессионалы-игроки. Просто они жили этим. Являлись как на службу, хорошо зарабатывали.

Символистов и поэтов, художников «Голубой розы» или «Мира Искусства», писателей «Знания» или «Шиповника» для них не существовало. Но чем дольше засиживались, чем больше штрафов платили, тем больше книг и журналов можно было купить в библиотеку.

Туда вел длинный коридор, уставленный шкафами — с иногда ценными изданиями. Библиотека быстро росла. В читальне, под мягкой

зеленой лампой, на столе газеты и журналы, издания на разных языках, кресла, тишина, полумрак — другой мир. Пробежит в длинном сюртуке Брюсов, пройдет Юлий Бунин, полный, уютный, особой своей походкой (слегка выкидывая ноги в стороны), рыжеватый Иван Иванович Попов, редактор «Женского дела» (букву д выговаривал, как т — журнал свой называл «Женское тело»).

Вторникам отвели залу обширную, на шестьсот мест, с занавесом, сценой-эстрадой: можно было ставить спектакли, давать концерты. Лекторы стали разнообразней. Многих выписывали из Петербурга. Мережковский, Андрей Белый, Волошин, Маковский, Волынский, Яблоновский проходят в памяти, покойный Айхенвальд. Даже епископ один выступал (имени его не помню). Читали о новых писателях, новых книгах, «вопросах пола» — в общем, все стало спокойнее и солидней. Споры, однако, бывали жаркие, иногда до скандала. (Раз Андрей Белый с эстрады вызвал на дуэль литератора Тищенку, друга Толстого. Пришлось спускать занавес, под руки сводить с лестницы изнеможденного, в истерике, автора «Серебряного голубя»).

Эти «верхние» вторники (в верхнем зале) все же приняли слишком шумный характер. В нижних комнатах уединенно собирались «Эстетика» и «Среда».

В первой главенствовал Брюсов. Это было продолжение «Весов». Питалось дамами богатыми и снобистическими (из купчих — «Скорпион» коренился в Московском Сити). Брюсов священнодействовал. Молодые поэты трепетали. Почтительно безмолвствовали художники. Дамы сияли бриллиантами, кутались в меха. В общем же: скука и высокомерие, хотя выступали иногда замечательные писатели — Вяч. Иванов, Блок, Белый. «Середа» называлась в Кружке «молодой», или новой — из прежних, интимных собраний у Телешова и Л. Андреева перешла в большой простор, разрослась численно — и побледнела. Председателем ее был Юлий Бунин. Тон простой и не напыщенный. Состав довольно серый. Как в «Эстетике», читали и стихи, рассказы — беллетристов было больше. Направление в «Эстетике» символизм, здесь реалистическое. Из писателей известных — Бунин, Шмелев, Серафимович, Телешов. Выступал Алексей Толстой (бывал и на «Эстетике»). Но молодежи выдающейся «Середа» не вывела.

* * *

Врос Кружок в жизнь Москвы с достоинствами своими и недостатками, с шумом, оживлением, дебатами об Арцыбашеве и Каменском, концертами и лекциями. Вечером заглянув туда, встретишь знакомых и друзей, просмотришь новости в читальне — вряд ли минуешь белый ресторанный зал. С молодым еще (но уже академиком) Буниным займешь стол, наш обычный, направо от двери. К полуночи подойдет

Юлий Бунин с какого-нибудь заседания — в том же Кружке, где с Валерием Брюсовым обсуждали они вопрос, скажем, о поваре (Брюсов во всем был дотошный и неутомимый: переводить ли Вергилия, спорить ли о дежурном блюде). Столики чуть не все заняты. Там Эфрос со Смирновой, Лоло с Ильнарскою, Перский с женой, Книппер, быть может, Качалов, Правдин из Малого театра. Шмелев, Телешов, покойный Грузинский подсядут к нам. Встретишь приезжего из Петербурга — Георгий Чулков. Из молодых московских — Ходасевич, Муни, Койранский и Стражев. Ровно в час, по хронометру, появлялся философ Лопатин — у него место всегдашнее за «профессорским» столом, через зал от нас. Лысый, в очках, с головой мудреца, начиненной идеализмами и психологизмами, был он так аккуратен, что по нем проверяли часы.

— Лев Михайлович приехал, значит, час ночи.

Надо сказать: подолгу в ресторане засиживались. Много шумели и спорили, и хохотали, и поужинав, заходили в игорные залы — можно на счастье поставить (и проиграть!) — может быть, и сорвешь удачу.

А потом зимняя ночь, такой свежий, чудесный воздух. Сонный Ванька, ухабы, затихшие улицы Москвы, тьма.

* * *

Ко временам драм российских Кружок был учреждение цветущее, с библиотекой в двадцать тысяч томов, штатом служащих, канцеляриями, запасным капиталом. Мог жертвовать на просвещение, стипендии, помогал нуждающимся, выдавал ссуды, издавал журнал (небольшой), собирал многосотенные аудитории — литературно-музыкальные. В залах его устраивались выставки. Во время войны там был лазарет.

В революцию он сначала держался. Из первых перешел к «ним» Брюсов — началось медленное удушение. Горестная сцена сохранилась в памяти из того времени. Старый Серафимович, Александр Серафимович, многолетний наш сотоварищ по «Среде» тоже объявился коммунистом.

Помню заседание «Середы» — из последних в Литературном Кружке — из совсем особенных. В верхней комнате было много народу, душно и нервно. Все взволнованы, что-то висит над душой. Сидел за столом и Серафимович, бледный и молчаливый. Попросил слова Андрей Соболь. В горячей, нервно-истерической речи, захлебываясь, предложил исключить Серафимовича из «Середы».

— Кто против свободной печати и литературы, тот не с нами.

Все молчали. Молчание было тяжелое. Поднялся Чириков.

— Вы нам не товарищ. Все между нами кончено. Больше руки я вам не подаю. (Таков, приблизительно, был смысл его слов).

— Значит, я могу выйти? — глухо сказал Серафимович.

Никто не ответил — раздались аплодисменты. Он поднялся и бледный, молча, вышел.

Больше мы его тут не видели. Но Кружок он закрыл быстро — «как контрреволюционное гнездо». Сын его в это время донес на одного юношу, гимназиста, своего же товарища — и погубил его в чеке. Александра Серафимовича я встречал потом в «Лито»*) — у него быстро появилась шуба и бобровая шапка. Бог с ними, с бобрами. Александр Серафимович был всегда незадачливым, внутренно-озлобленным писателем. Теперь сделал шаг разумный, и сравнительно процвел. Это личное его дело и не хочется его судить. Все же... этот человек бывал некогда в моем доме, мы находились в добрых отношениях, из времен юности сохранились даже некие ласковые слова и улыбки. Тем грустнее все остальное.

Сейчас он в почете, как и Вересаев. Госиздат издает собрание его сочинений — практически он игру свою выиграл.

*) Литературный отдел — было такое учреждение.

«Зори»

В 1904-06 гг. выходил в Москве марксистский журнал «Правда». Его издавал В. А. Кожевников, инженер, математик и фантасмагорист. Этот скромный и своеобразный человек со странностями взял да и всадил чуть не все свои средства в издание, где сотрудники — Луначарские, Скворцовы, Базаровы ему же и доказывали, что он эксплуататор, буржуй, темная личность. Удивительно было его терпение. Барство, должно быть, чрезмерное. Захотел сам себя сожигать — и сожигал.

Однако, весной 1906 г. Валентин Алексеевич, загадочно расширив свои глаза и поиграв по обыкновению ноздрями, объявил, что он еще новый журнал хочет издавать, но маленький, чисто литературный, вроде приложения к «Правде» (эта «Правда» была необычайно-нелепого вида: пол аршина длины и узенькая, так что страница выходила чуть не газетным столбцом). Новое детище окрестили «Зори» и отдали молодежи.

К «Правде» я имел некоторое отношение. Первые номера мною корректировались. Я получал за это 50 руб. в месяц, пропускал много ошибок и напечатал там два собственных рассказа: «Мглу», «Сон», а уже третий, «Тихие Зори», не прошел в этом «магазине», а попал, как и дальнейшее, в петербургский «Новый Путь».

Из корректоров тоже я был изгнан (вполне справедливо). Но с Валентином Алексеевичем сохранил добрые отношения и бывал в его квартире на Кудринской площади в знаменитом доме Курносова, куда упирается Новинский бульвар, откуда видна вся Москва. И вот в эти «Зори» меня посадили уж в редакцию.

Как все, что затевал Валентин Алексеевич, наши «Зори» оказались мало златоносными: журнальчик, где золото пущено было на обложке (и Москва на ней тоже изображена) расходился, кажется, в 60 экземплярах. Существовал недолго — одну весну, — литературного

влияния не имел, и теперь представляет величайшую редкость. Но в жизни молодой Москвы того времени известную память оставил и не в одной душе провел свой след.

* * *

Весна, Москва! Не зря назвали мы журнальчик «Зори», и не зря Сергей Глаголь и К. К. Первухин пустили золото на обложку. Что-то от светлой зари, юношеское и чистое было в этих «Зорях», и навсегда они для меня овеяны светом весны, тех особых неповторимых чувств... Нас было несколько молодых литераторов, и два-три старших, и через всех нас прошел какой-то романтически-весенний ток: «Зори» сделались не только лишь журналом, но и умонастроением и какой-то душевной направленностью.

27 апреля. Открытие первой в России Думы. Наш поэт Александр Диесперов — студент в очках, живущий на 15 руб. в месяц, отшельник, страстный и патетический книжник, — впоследствии автор тома о Блаженном Иерониме, — читает свою лирическую передовую для «Зорь» об эре свободы, о вольном народе и о другом, начинающемся... Апрельское золото на его некрасивом, и умном, и восторженном лице. Золото — во влажных от волнения глазах, да и по нас пробегает содрогание восторга. Вообще восторг — одна из важных черт «зоризма». Мы так иногда называли свое настроение. Диесперов воспевал в своих стихах Русь, апрель, колокола, березки, некий град Китеж, иногда приходил ко мне, задыхаясь от волнения и слез. Он был мистик, но не декадент. Страстно поклонялся Белому (времен «Золота в лазури»), Блоку «Прекрасной Дамы». Поэзию и святую бедность он избрал себе для обручения. Сколько его я помню, облик монаха в нем рос, углублялся. Он совсем отдавал уже свою жизнь другим, иногда с некоторою суровостью; но тогда, в апреле «Зорь», он более всего остался в моей памяти с золотом слез восторга.

П. М. Ярцев, драматург и театральный критик*).

Еще наш зорист был Владимир Высоцкий, — русский поляк с миндалевидными индусскими глазами, изящный, томный и всегда влюбленный, бредивший Каспровичем, Словацким («Ангелли» — его перевод), переведшим всего Пшибышевского. Он воспламенялся, когда речь касалась Польши или женщин. Верный спутчик по кабачкам, славный товарищ в жизни, звали мы его «Пшерва Тетмайер» или «Пшесмыцкий», а чаще: Пшесмыка. В этом слове казалось всегда мне что-то ласково-нелепое, весьма шедшее к человеку богемы.

---

*) О нем см. ниже.

П. П. Муратова не было тою весной в Москве. Он писал нам из Парижа, как из Петербурга прислал мне А. Блок свое чудесное стихотворение, впервые у нас в «Зорях» напечатанное (названия не помню; там есть строчка: «твой узорный, твой цветной рукав»). Андрей Белый тоже был наш, но не так близко-лично, и на наших собраниях, у меня, или Ярцева, кончавшихся иногда на рассвете, не участвовал. Но зорист, и упорный, был тогдашний ближайший друг его Эллис, — в то время бодлерианец и мистик, с большой исступленностью. Он писал нам мистические стихи, переводил Данте и всегда был готов к крайностям. Однажды покойный Б. А. Койранский оскорбительно пошутил над гипсовым Данте, стоявшим у Эллиса. Тот не стерпел и, схватив бюст (поруганный, по его мнению), разбил его вдребезги. Эта мучительная и «летящая» душа прошла много испытаний, ныне, надо думать, нашла прочную успокоенность в лоне католической церкви. (Эллис — ученый монах и переводчик русских религиозных писателей на немецкий язык).

«Зорям» принадлежал также поэт Самуил Викторович Киссин (Муни). С грустью вспоминаю его прекрасные глаза, черную еврейско-ассирийскую бороду, его всегдашнюю тоску и ненасыщенность, — с грустью за недолгую жизнь, за горький конец. (Он застрелился во время войны). И я зашел бы слишком далеко, если бы подробней написал о двух мне лично очень близких зористах А. А. Койранском и В. И. Стражеве. Кажется, мне остается добавить, что лирико-мистический «рассказ» был у нас представлен П. Кожевниковым, Венеция — К. К. Первухиным, санскрит и Индия — М. А. Эртелем, ученейшим филологом, Византия и Рим — А. П. Воротниковым.

* * *

Кто мы такие были: сотрудники, редакторы, издатели? Почему при марксистском журнале для увеличения его тиража печатался в двухстах экземплярах тоненький журнальчик мистико-романтического свойства? Почему мы все собирались и в с л у х читали свои произведения, а потом обсуждали, спорили, «выясняли отношения», отвратительно сами корректировали и т. д. — для чего все это? Значит, так по-русски полагается, чтобы выходило бестолково. Но нам было весело и легко. Мы прожили отличную весну с тем сознанием делаемого дела, которое всегда есть у писателя, если даже разумом он понимает, что, в сущности, никому до его писания дела нет. Какая была наша публика? На кого мы влияли? Кому что-нибудь приносили? Женам, сестрам, разным молодым людям и барышням, для которых я был Зайчик, а Муратов — Патя. Но мы так разохотились, что, проведя кто где лето 1906 года, осенью вновь соединились, и всю зиму собирались

у меня на Спиридоновке, где мы с В. И. Стражевым вместе сняли квартиру. Собирались для издания нового «органа», на этот раз вполне собственного: «Литературно-художественная неделя». Это было продолжением «Зорь», но более боевого и задирчивого типа. «Зори» никого не трогали. В «Литературно-художественной неделе» Б. Грифцов ставил Блока выше Толстого, кажется, мы заодно разгромили и Репина, а за нападки на Брюсова (вот от чего меньше всего отрекаюсь) вышла целая история с Андреем Белым.

«Неделя» наша тоже погибла, — и тоже от безденежья и «холодности» публики. Зористы же ходили ко мне целую зиму. Эти собеседования были очень горячи, искренни и светлы. Все-таки у нас было что-то вроде братства, секты романтиков; внутренний голос нас сводил; из душевной потребности родилось общение. Мы даже пытались определить «зорическое» миросозерцание. Конечно, мы все со всем «соединяли», «примиряли», разумеется, не обходилось без Владимира Соловьева. В то же время был у нас и особенный «русский» уклон и христианский. С христианством нас сближал как бы с в е т наших душевных устремлений и их музыка. Но мы были литературный кружок, а не религиозно-философский.

* * *

Все это прошло; но хорошо, что было. Вспоминая Москву, всегда вспоминаешь светлую горячку «Зорь». Молодость, братская дружба, энтузиазм, — не так это уже мало. И если для литературы — песчинка скромная «Зори», то для живых людей, вот для наших душ, это время есть нечто.

Годы нас разбросали — и мировые потрясения. Много лет ничего я не слышу о В. Высоцком, Пшесмыке «Зорь». Горькое чувство мне говорит, что всего вернее сложил он, белый офицер, свою головушку где-нибудь под Ростовом. Диесперов, если жив, трудится в глубине России. Остальные мы разбросаны по всему свету. Москва, Россия, Франция, Германия, Чехословакия, Америка... Мир так просторен.

Молодость — Иван Бунин

Можно ошибиться в годе, когда встретились. Но не ошибешься в том, что была зима. Неопалимовский переулок, звезды на ночном небе, огненно-сухая, снежная пыль из под копыт «резвого». Яркий свет, тепло, запах шуб в передней профессора Р. Хозяин, нестарый еще психиатр с волнистыми волосами, в белом галстуке (при пиджаке), пел в гостиной у рояля, громко и смело:

«Целовался крепко... да-а... с твоей же-е-ной!» (Схватывая себя при этом за кок на лбу).

В столовой молодежь — не то художники, не то студенты, не то поэты, не весьма основательные дамы, и с черными кудерьками, карими чудесными глазами сама хозяйка, Любочка Р. Все эти Зиночки, Лены, Васеньки — ее приятели. У Любы тяготение к модерну. У нее встретишь и Бальмонта, и Балтрушайтиса. Она читает «Симфонии» Андрея Белого. И ее брат, Георгий, только что вернувшийся из Сибири, вскоре разовьет свой «мистический анархизм».

Психиатр занимался циркулярным психозом, ездил в клиники на Девичье Поле, на дому лечил гипнозом (больше пьяниц). Принимал у себя молодежь. Относился к читателям «Симфоний» с благодушной снисходительностью, частью как к пациентам. Но задавала тон Люба — ласковостью, весельем, оживлением. Весь этот круг литературно-артистический носил оттенок легкой беззаботной художнической богемы.

Так же шумели, хохотали и танцевали в промежутках между пением и в тот вечер, когда в столовой, под рулады баритона из гостиной, впервые увидел я Бунина. Он сидел за стаканом чая, под ярким светом, в сюртуке, треугольных воротничках, с бородкой, боковым пробором всем теперь известной остроугольной головы — тогда русо-каштановой — изящный, суховатый, худощавый. Ласково блестя на него глазами, встряхивая черными завитками волос, улыбалась из-за самовара Любочка.

Пение оборвалось, раздались аплодисменты. Психиатр быстро вошел в столовую, оглядел всех победоносно. Налил стакан воды из стеклянного кувшина, залпом выпил, надышав туда. Поправил шевелюру и, сверкнув мужицкими своими глазками, весело спросил:

— Ну, как?

Это относилось к пению. Все зааплодировали, он тронул белый бессмысленный галстук и на лакированных ботинках проследовал в кабинет, где какой нибудь Васенька выяснял отношения с какой нибудь Зиночкой.

Этот свет и тепло квартиры, белизна скатерти, любины кудряшки, молодое оживление вокруг, остроугольный, элегантный Бунин — так и смешались в памяти с морозной ночью и звездами над Москвой — в ощущении остро-поэтическом.

* * *

Встретились мы будто бы случайно. Но принадлежа к одному кругу, занимаясь одним делом, не могли и далее не встречаться. Виделись у Леонида Андреева, Телешова, Сергея Глаголя. А там Литературный кружок, ресторан «Прага»...

Пестрой и шумной, легкой и радостной кажется теперь жизнь тогдашней Москвы. Может быть, просто молодость? Необычайное по силе чувство жизни?

Но — и само время: какое привольное, сколь подходящее для артистического! Какой интерес к литературе! Сколько молодых дарований... Сколько споров, волнений, чтений, удач и неудач, изящных женских лиц, зимних санок, блеска ресторанов, поздних возвращений...

Иван Алексеевич жил тогда по гостиницам: в номерах «Столица» на Арбате (рядом с «Прагой»), позже в «Лоскутной» и «Большом Московском».

Оседлости не любил Бунин, — нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то в Крыму — или, вдруг, взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу — тогда виз не требовалось!

Живя в Москве, бывал и у нас, по разным Остоженкам, Спиридоновкам, Богословским и Благовещенским. Под знаком поэзии и литературы входил в мою жизнь: с этой стороны и остался в памяти. Всегда в нем было обаяние художника — не могло это не действовать. Он был старше, опытнее и сильнее. Я несколько его боялся, и по самолюбию юношескому ревниво себя оберегал. Мы говорили очень много — о стихах, литературе, модернизме. Много спорили — с упорством и горячностью, каждый отстаивал свое — в глубине же, подспудно, любили почти одно и то же. Но он уже сложился, я лишь слагался.

На «Средах» слушали чужие вещи и свои читали. Леонида Андреева, милого Сергея Глаголя я не стеснялся.

Но вот Бунин именно меня «стеснял». И тогда уже была в нем строгость и зоркость художника, острое чувство слова, острая ненависть к излишеству. А время, обстановка, как раз подталкивали писателя начинающего «запускать в небеса ананасом» (Белый). Но когда Бунин слушал, иногда фразы застревали в горле.

Раз, выехав вечером из Москвы в Петербург — Иван Алексеевич, я, и жена моя, занимались мы в вагоне, часов в десять вечера, чтением вслух: он читал стихи, я рассказ (вез его в «Шиповник»). Именно там, с глазу на глаз, в купе второго класса Николаевской дороги, при смутном свете свечи, сильно мигавшей, неповторимом запахе русского вагона, неповторимо-плавном ходе поезда Империи и ощущал я давление в горле — на сомнительных словесных виражах. Поезд неукоснительно-покойно шел зимними нашими полями. Тепло струилось по коридору, занавеска на фонарике покачивалась — полные своих планов, стремлений и чувств мы летели к туманному Петрограду.

* *
*

«Почему вы грустны? Почему сегодня такой молчаливый?» спрашивал меня иногда на «Средах» Бунин.

В молодости грусть и замкнутость — не проявление ли сил еще бродящих, неуверенных? Робости, гордости?

Во всяком случае, простые слова старшего, взгляд сочувственный, — как-то оживляли. И хотя отвечал я не весьма складно и продолжал молчать, все же это облегчало, и вот з а п о м н и л о с ь. Значит, было на пользу.

В один апрельский вечер «Среда» собралась у Сергея Глаголя в Хамовниках.

Кто тогда читал, я не помню. Но в этой самой квартире, где из окна видна была каланча, а в комнатах — смесь акушерства с литературой и этюдами Левитана, и подарил мне в тот вечер Иван Алексеевич только что вышедшую книгу: «Песнь о Гайавате», в своем переводе.

Мы всегда ужинали после чтения, засиживались поздно. Извозчики громыхали, развозя по Москве полусонной — кого в Лоскутную, кого на Чистые пруды. А кто и пешком брел. Я именно так и мерил пространство к Молчановке, там в доме Сусоколова, в деревянном особняке снимал антресольную комнату за пятнадцать рублей — с лежанкою, тополем за окном, выходившим на переулок Годеинский, где за углом, на Арбате, и жил Бунин в «Столице». Отсюда ходил я в Спасо-Песковский к будущей своей жене, сюда, по скрипучей лесенке, забегала и она.

Теплое было утро, влажное, тихое... — с каплями росы, благоухающими почками тополевыми. Может быть, слегка даже дождик накрапывал? Шел третий час, четвертый. Помню, сидел у окна раскрытого, и читал эту «Гайавату», и мечтал о чем-то, восхищенный, взволнованный. И совсем стало светло... — а еще что?

И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Только и всего. Поэзия была. И что-то от нее произрастало в сердце.

* * *

В доме Армянских, кораблем воздымавшемся на углу Спиридоновки и Гранатного, позже мы жили. Над переулком свешивались ветви чудесных тополей и лип особняка Леонтьева. Недалеко от нас дом Рябушинского, с собранием икон. Недалеко и церковь Вознесения, где Пушкин венчался — белая, огромно-плавная, с куполом-небосводом*).

В доме Армянских много у нас уже бывало народу, во главе с тою же Любочкой Р., и профессор заглядывал, и Бальмонт, Сологуб, Городецкий, Чулков, Андрей Белый... — и все Зиночки, Васеньки, Машеньки прежних времен. И Муратов, и Стражев, Койранский, Высоцкий — сверстники и сотоварищи писания. Иногда спал на турецком диване З. И. Гржебин, «Шиповник», мой первый издатель, приезжавший из Петербурга. Как «не-ариец» не имел в Москве права жительства — останавливался у нас.

И, конечно, бывал здесь Иван Алексеевич Бунин.

Дух был богемский и бестолковый. Путано, шумно, нехозяйственно — но весело. И весьма молодо. В сущности, то же, что и у Любочки Р., только без пения и циркулярного психоза. И с преобладанием литературы, еще большим на ней ударением. Очень много читали здесь вслух — и я сам, и другие. И Белый, и Бунин. Старше нас, но отчасти меж Зиночек, Любочек, Диесперовых и Грифцовых молодея, читал Бунин стихи... Вновь нас обольщал. «Острый Сириус блистал», олень мчался средь чащу зимнюю, в лунную ночь волки брели по снегам к гумну. Или:

Старых предков я наследье чую,
Зверем в поле осенью ночую,
На заре добычу жду. Скудна,
Жизнь моя, расцветшая в неволе,
И хочу я смело в диком поле
Силу страсти вычерпать до дна.

---

*) Ныне разрушена.

Силы жизни, жажды жизни много в нем было в те годы.

На одном сборище таком встретил он у нас тихую барышню с леонардовскими глазами, из старинной дворянской семьи... Вера Николаевна Муромцева жила у родителей в Скатерном, училась на курсах, вела жизнь степенную и просвещенную. С женой моей была в давнишних добрых отношениях.

Тот вечер закончился частью в Литературном Кружке, частью в Большом Московском — очень поздно, и вряд ли мог кто-либо тогда подумать, что недалеко время, когда обратится Вера Николаевна Муромцева в Веру Николаевну Бунину.

Но это именно и случилось. И весной следующего года уехали они в дальнее путешествие.

* *
*

Помню чтение «Астмы» в доме Муромцевых, в комнате Бунина с гильзами, табаком — комнате как бы помещичьего дома (только ружей на стене не хватало, да лягавой собаки). «Деревню» читал автор несколько вечеров, в столовой, под висячей лампой, тоже по-деревенски. Слушали: брат Юлий, Телешов, покойный Грузинский, да мы с женой. Это было уже другое — новая полоса в писании его, да и в жизни иное пришло. Он креп, рос, временно отходил от лиризма более молодых лет. Через два-три года выбрали его в Академию, по разряду изящной словесности, и мы бурно отпраздновали это событие в московской «Праге». Несколько позже — 25-летний его юбилей, тоже очень торжественно, на всю Москву, чуть не целую неделю. Это значит, уже «маститый», академик.

Жизни же наши шли, как кому полагалось. Вместе приближались мы к рубежу, в грохоте и огне которого погибло все прежнее — кроме таинственных следов в памяти и душе. К ним и обращаешься теперь, как бы из другого мира.

Юлий Бунин

Москва богата улицами, переулками. Их имена порой причудливы. «Середа» применила этот словарь к шуточным кличкам своих сочленов. Телешов назывался «Угол Денежного и Большой Ленивки», Сергей Глаголь (за красноречие) — «Брехов переулок», Гольцев — «Бабий городок», Андреев — «Ново-Проектированный». У Ивана Бунина прозвища не было, но его брата Юлия с отдаленных времен окрестили «Старо-Газетным» переулком.

Юлий Алексеевич никогда в Газетном не жил и в газетах не писал. Он был редактором журнала «Вестник Воспитания» из Староконюшенного переулка. Знающие говорили, что это лучший педагогический журнал. Мы, несведующие, могли только утверждать, что журнал помещался по левой стороне Староконюшенного, во флигеле особняка Михайлова. Юлий Алексеевич всегда сидел в своей квартире-редакции — на стене Св. Цецилия — читает рукописи, пьет чай и курит. Из окна видна зелень Михайловского сада, в комнатках очень тихо, если зайти часов в двенадцать, то весьма вероятно, что там и Иван Бунин, и что они собираются в «Прагу» завтракать.

Юлий Алексеевич невысок, плотен, с бородкой клинушком, небольшими умными глазами, крупной нижней губой, когда читает, надевает очки, ходит довольно мелким шагом, слегка выбрасывая ноги в стороны. Руки всегда за спиной. Говорит баском, основательно, точно продалбливает что-то, смеется очень весело и простодушно. В молодости был народовольцем, служил статистиком, а потом располнел и предстал законченным обликом русского либерала.

— Юля, — кричала ему в Литературном Кружке веселая молодая дама. — Я вас знаю, вы из либерализма красную фуфайку носите!

Юлий Алексеевич подхохатывал своим скрипучим баском и уверял, что это «не соответствует действительности».

Был он, разумеется, позитивистом и в науку «верил». Жил спокойной и культурной жизнью, с очень общественным оттенком: состоял членом бесчисленных обществ, комиссий и правлений, заседал, «заслушивал», докладывал, выступал на съездах, и т. п. Но пошлостей на юбилеях не говорил. Нежно любил брата Ивана — некогда был его учителем и наставником, и теперь жили они хоть отдельно, но виде-

лись постоянно, вместе ездили в Кружок, на Середу, в «Прагу». На Середе Юлий Алексеевич был одним из самых уважаемых и любимых сочленов, хотя и не обладал громким именем. Его спокойный и благородный, джентльменский тон ценили все. Что-то основательное, добротное, как хорошая материя в дорогом костюме, было в нем, и с этим нельзя было не считаться. Когда Середа выступала как-нибудь общественно, Юлий Алексеевич всегда стоял во главе.

Он не сотрудничал в «Русских Ведомостях», и это странно, ибо именно «Юлий», как мы его дружески называли, являл собой тип «Русских Ведомостей», он потому и назывался «Старо-Газетным», что носил в себе воздух, дыхание некоего мира. «Юлий» был мера, образец и традиция. В сущности, по нем одному, по его речи, суждениям, заседаниям, заграничным поездкам, можно было почувствовать всю ту жизнь, все то время.

* * *

Узнав об объявлении войны, он впал в тяжелое уныние.

— Мы погибли, — сказал в июле 1914 года брату Ивану.

Дальнейшему, видимо, уже не удивлялся. По странному упорству не захотел ехать с братом на юг в 1918 году и остался в Москве — наблюдать гибель мира, к которому принадлежал, и под который сам закладывал некогда динамитный патрон.

Нельзя было во времена моей молодости представить себе дня, когда не вышли бы «Русские Ведомости». Трудно себе вообразить и то, чтобы Юлий Алексеевич не заседал во флигельке Михайловского дома над корректурами «Вестника Воспитания». И однако, все это случилось. Люди с красными флагами выгнали людей в красных фуфайках. «История» предстала в некий час просто и грозно, опрокидывая и давя «джентльменский» уклад, тонкой пленкой висевший над хаосом.

Надвигались страшные зимы 19-20 годов. Тут не до Середы, не до литературы. Только бы не погибнуть! Середа к этому времени понесла уже большой урон: умер Леонид Андреев, умер и Сергей Глаголь, и Тимковский. Иван Бунин уехал на юг. Я в Москву лишь наезжал, из деревни. Юлия Алексеевича встречал, но не часто. Ни «Русских Ведомостей», ни «Вестника Воспитания» уже не существовало. «Юлий» был грустен, недомогал. Пальто его совсем обтрепалось, шапочка также. Из Михайловского флигелька его выжили. Что сделали со Св. Цецилией? Вероятно, сожгли в печурке (но она ведь и есть Дева-Мученица). Как и все, жил он впроголодь.

В 1920 году, когда я перебрался вновь в Москву, здоровье Юлия Алексеевича было уж совсем неважно. Нужен был медицинский уход, лечение, правильное питание... — в тогдашней-то голодной Москве!

После долгих хождений, обивания порогов его устроили в сравнительно приличный дом отдыха для писателей и ученых в Неопалимов-

ском. Там можно было жить не более, кажется, шести недель. (Место, где написана известная и, в своем роде замечательная, «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и Гершензона — тоже памятка русских бедствий). Раза два ему срок продлили, но потом пришлось уступить место следующему, перебраться в какой-то приют для стариков в Хамовниках.

Я был у него там в теплый июньский день. «Юлий» сидел в комнате грязноватого особняка, набивал папиросы. На железных кроватях с тоненькими тюфячками валялось несколько богоделенских персонажей. Мы вышли в сад. Прошлись по очень заросшим аллеям, помню, зашли в какую-то буйную, глухую траву у забора, сидели на скамеечке и на пеньке. «Юлий» был очень тих и грустен.

— Нет, — сказал на мои слова о брате, — мне Ивана уже не увидеть.

Этот светлый московский день с запущенным барским садом, нежными облаками, с густотой, влагой зелени, с полуживым Юлием Алексеевичем, остался одним из самых горестных воспоминаний того времени.

Через несколько дней «Юлий» обедал у меня в Кривоарбатском. Обедал! В комнате, где жена стряпала и стирала, где я работал, а дочь училась, он съел тарелку супа и, правда, кусочек мяса.

— Как у вас хорошо! — все говорил он. — как вкусно, какая комната!

Больше живым я его уже не видал.

* * *

В июле представитель нашего Союза добился от власти, чтобы Юлия Алексеевича поместили в лечебницу. Назначили больницу «имени Семашко» — «лучшее, что мы можем предложить». Когда племянник привез Юлия Алексеевича в это «лучшее», то врач задумчиво сказал ему: — Да, что касается медицинского ухода, у нас вполне хорошо... но знаете... кормить-то больных нечем.

Юлий Алексеевич, впрочем, не затруднил собою, своей жизнью и питанием хозяев этого заведения: он просто умер, на другой же день по приезде.

Мы хоронили его в Донском монастыре, далеко за Москва-рекой, тоже в сияющий, горячий день, среди зелени и цветов. Старые друзья, остатки Среды, все явились поклониться сотоварищу, в горький час России уходившему. Он лежал в гробу маленький, бритый, такой худенький, так непохожий на того «Юлия», который когда-то скрипучим баском говорил на банкетах речи, представлял собой «русскую прогрессивную общественность», редактировал сборник Среды, или забравшись с ногами на кресло, подперев обеими руками голову, так что все туловище наваливалось на стол, читал и правил в Староконюшенном статьи для «Вестника Воспитания».

II.

«Дело богемы»

«Утром нежность, сверхземное успокоение Ассизи открылись и глазам моим. Теперь, с высоты того же балкона я увидел то, что так таинственно молчало вчера. Я увидел деятеля этого молчания, это была воздушная бездна в бледных, перламутрово-сиреневых тонах. Священная долина Умбрии! Тонкий туман стелется в ней по утрам, заволакивая скромные селенья: те как бы евангельские Беттоны и Беваньи, близ которых проповедывал Святой Бедняк».

Вот настроение счастливого паломничества, которое совершали мы, в простеньких условиях, но с большим одушевлением, осенью 1910 г. Молодость, беззаботность, склонность к восторженности. Венеция, Римини, Ассизи...

На возвратном пути остановились во Флоренции. Прелестен был, как всегда, город. Полны, изящны дни.

«И тихо жизни быстротечной
«Над нами пролетала тень.

В один из этих дней подали мне телеграмму из Москвы.

— „Vieni subito difendere Vittorio".

Поэт В. С., очень близкий мне тогда человек, находился в это время в Пизе. Как мог я его защищать? И от кого? Почему надо было немедленно возвращаться в Москву?

Вечером на площади Виктора Эммануила, в кафе, где прислуживали официанты в красных фраках, я прочел, что Бурцев раскрыл в литературной богеме Москвы грандиозную провокацию: ее душой была Ольга Путята. Она оговорила Бурцеву своего гражданского мужа, небезызвестного московского литератора С. — он, якобы, сочувствовал в ее делах. Вот почему надо возвращаться. «Речь» перепечатала это из «Русских Ведомостей». «Русские Ведомости» считались в Москве верхом солидности. Если т а м появилось, значит, правда. Как за-

щищать? Чем опровергнуть утверждение: «он тоже знал, и помогал, и пользовался от меня деньгами?»

Если в Москве п о в е р я т, человек убит. Все отвернутся от него. Ни одна его строчка не появится в печати. Никто не подаст ему руки.

Кончилось наше мирное путешествие. Началась «жизнь». Надо было в нее возвращаться.

* * *

Литературная молодежь того времени связь с революцией имела. Революция считалась носительницей свободы против произвола. Революция заступалась за низших. В революции, наконец, было известное воодушевление. Императорский же режим медленно, но безостановочно разлагался. Молодежи естественно хотелось нового, свежего и патетического.

Патетизм-то оказался жалким, «новые» люди убогими, но под тогдашнюю линию все это сходило. Известный гипноз был. Почему нибудь ведь давали мы свои квартиры под «явки»? Таинственные личности с «паролями», «литературой», иногда шрифтами и обоймами появлялись же в четвертом этаже дома на углу Арбата? Шумели, спорили, раздавали приказания, оставляли в комнатах поразительный беспорядок, и были за редкими исключениями удивительно неприятные люди, говорившие на жалком жаргоне («массовка», «столовка», «отзовизм» и т. д.), — беспредельно самоуверенные, но не показавшие еще когтей во всю. В то время, по молодости лет, я иногда удивлялся, как это нас не арестуют: идешь по Арбату, и видишь «типа» в синей рубашке под жилет, в широкополой бандитской шляпе — он поворачивает в переулок... и я встречаю его у себя на квартире. Но ведь слепому же ясно, что эти подозрительные, и так резко выделяющиеся фигуры не зря являются. Почему же им позволяют собираться так открыто? Позже все разъяснилось.

Наша личная связь с революцией была поверхностна. Некоторые же из друзей моих вклинились в нее крепче — по сердечным делам. Тут-то и появляется Путята.

Наше с нею знакомство восходит к 1904 г. Она сблизилась тогда с моим приятелем В. В., переводчиком Пшибышевского, Тетмайера и других. Они поселились вместе, в изящной и приятной квартирке, на Долгоруковской — Ольга Федоровна всегда заводила уют, сама была элегантная и миловидная маленькая женщина. Происхождением из западного края, полу-полька, хорошо «стелилась под стопы паньски», хорошо одевалась, была приветлива и образована. Тоненькая фигурка с красивыми карими глазами. В., ее друга, мы называли Пшесмыцким, или просто «Пшесмыкой» — Пшесмыка был музыкант, тонкая и даровитая натура, его миндалевидные глаза и несколько индусский

облик несли в себе известную пряность: нечто среднее между «индусским гостем» из оперы и московским Пшибышевским. Разумеется, он много пил. Но много и работал. Ольга Федоровна отлично им владела, и они жили, несмотря на его богемскую непутевость, довольно ладно.

Но времена изменились. О. Ф. «разлюбила» Пшесмыку и сошлась с нашим общим другом В. С. Их жизнь, однако, хуже сложилась. С. не был так мягок и удобен для управления. Самолюбивый и с характером, очень умный, по образованию филолог, бросивший учительство для литературы, он попал в самую горячку начала века. Вокруг делались быстрые и шумные литературные карьеры. Ему выбиться не удавалось. Из скромного учительского быта он попал в кипение богемы, в новую жизнь с Литературным Кружком, собраниями, лекциями, пестротой и сутолокою ресторанов, в круг изящных женщин, легких романов, в ту нарядную пену, которой тогда было так много. Для Путяты он оставил семью, детей. Но и с ней жизнь его оказалась тяжелой. Ссоры, ревность, с ее стороны — даже попытки самоубийства.

Еще зимою 1910 г. по Москве пошли слухи о «подозрительности» Путяты. Помню вечер, когда мне и жене сообщили, что Путята считается предательницей. Помню ощущение оцепенения... Ольга Федоровна, которая у нас же устраивала явки, у которой мы иногда ночевали, которая при нас переправляла кого-то заграницу (и сходило удачно!), наконец, с кем жена моя на ты... Правда, она всегда была лживой, могла и ластиться, и хорьком куснуть (вообще походила на коварного зверька польской закваски) — все же предательство?

— Кто и чем может это доказать?

Доказательств прямых не было. Но из партии ее уже, кажется, удалили. Не то, что «разоблачена», а «подозрительна».

— Да, решили мы: но, может быть, просто слухи? Сплетни? Как же так вдруг Ольга Федоровна провокатор? Мало ли что болтают. Такие вещи надо доказывать.

В. С. также —и с негодованием — обвинение отверг.

Положение осталось неясным. Время шло, улики не являлись. Но Путята худела, мрачнела, замыкалась в себя. Личные их отношения становились все хуже.

Однажды весною С., засидевшись у меня вечером, сказал:

— Проведи меня до дому. Мне что-то очень грустно. Оля все грозится покончить с собою и отомстить мне так, что и в голову не придет.

Его жизнь в это время также приняла несколько болезненный оттенок. Он много играл в карты. Много волновался из-за литературных неудач. Имела она основание и ревновать его.

Летом, в очень дурных отношениях с ней, на случайные деньги (он играл на бегах, скачках), С. уехал в Италию, с нашей легкой руки

входившей в моду. Путята — в Париж. Там и созналась Бурцеву, что уже несколько лет служит в охране и... — вспомнила угрозу! — что и С. знает об этом, помогает и пользуется ее деньгами. Бурцев все это сообщил печати.

* * *

Мы мгновенно собрались из Флоренции. В Москве картина оказалась тяжкой. Да, так и вышло, как мы предполагали: кроме ближайших друзей все отвернулись от С. Раньше я не видал, чтобы нравственное страдание так искажало физически. С. стал какой-то иной, изменился цвет лица его, звук голоса, выражение глаз. Всегда-то худой он обратился в трость. На тоненькой шее несколько набок, сидела голова с серыми, на выкате, замученными глазами. Он сразу прекратил все уроки, все литературные дела и все знакомства.

Предстояла борьба. Пятеро его друзей подписались под вызовом «Русским Ведомостям». Вызов появился в «Русском Слове». Мы в страстной форме удостоверяли лживость обвинения и свидетельствовали о порядочности С.*). Он же потребовал третейского суда.

Если бы газета не пошла на суд, оставалась только дуэль. Косвенно это дано было понять — «Русские Ведомости» на третейский суд пошли.

* * *

Вспоминая ту зиму, ничего не помню в ней кроме этого «дела богемы». Оно стало кровным моим делом. Моего друга бесчестили. Моя квартира оказалась «светлым пятном для охранного отделения» (на этих то «явках» и выслеживали кого надо. Вот почему нас и не арестовывали!). Вся наша литературная группа прямо или косвенно задета. Если С. мог знать о ремесле своей жены и продолжать с ней жизнь, то каков он, какова среда, каковы мы все...

В обществе приходилось сражаться постоянно.

— Позвольте, — говорили нам, — Путята служит в охране, получает жалованье, муж втечение двух лет ничего не замечает? Ну, это сказки! А откуда же у нее деньги, он не соображал?

Надо сказать, что жила Путята довольно таинственно. Считаясь членом партии, куда-то иногда отлучалась «по партийным» делам, ночевала дома не всегда, вела «конспиративные» знакомства, и т. д. Уследить за ней было бы нелегко. Деньги ей будто бы присылали род-

*) Среди подписавших — П. П. Муратов и тот самый В. В., от которого Путята ушла к С.!

ные. Она хорошо одевалась, и при врожденной лживости отлично обманывала не только С., но и наших, более искушенных дам насчет цены своих туалетов («по случаю», «на распродаже», и т. д.). Да и получала она немного. Как скупо платят за предательство! Сперва 35 руб. в месяц, а потом, уж на четвертый год — 100. «Сребреники» немногим превышали Иудины.

Все это так. Но посторонние не знали семейной жизни С., не знали, что именно весной их отношения вполне разладились, не знали о ее истерической ревности и истерически-выросшей ненависти к нему. Не знали и о прямой угрозе.

Начался суд. Он был поставлен серьезно. Председатель — Филатов, глава адвокатского сословия в Москве. Стороны — профессора, писатели, известные юристы (Н. В. Давыдов). Заседания происходили на квартире Филатова, в обстановке почти Окружного Суда. Разбиралось все по существу. Допросили море свидетелей. Запрашивали Бурцева и Белоруссова (парижского корреспондента). Путята не пожелала ни подтвердить, ни опровергнуть своего показания.

Заседания шли в нервном, остром стиле. «Русские Ведомости» взяли тон прокурора, стараясь топить С. Он яростно защищался и переходил постепенно в нападение. Мы показывали тоже в страстном тоне, все приблизительно одно: С. честный человек, мы знаем его жизнь день за днем, провокаторша мстила из ревности, оговор голословен, и т. д. Позиция С. была такая: газета нарушила литературную этику, возводя вздорные обвинения. Она должна за это ответить.

С обеих сторон ставка была немалая. Этим и объяснялось упорство борьбы.

* *
*

В., на суде показавший за С., жалел Путяту. Даже несколько раз с ней виделся. Он считал, что она погибший человек... — все же, это была его прежняя любовь, да и «славянская мягкость» в нем говорила. И надо сказать, трудно, очень трудно заушить уже опозоренного, уже распятого преступника. Какая бы Путята ни была, я вспоминаю ее лицо за этот год позора и сравниваю с прежним: дорого ей обошлись тридцать сребреников. Каким затравленным зверьком выглядела она уже тогда, когда над ней только скоплялась туча подозрений!

Припоминаю одну ночь, еще до суда. Мы были в Литературном Кружке. Туда заехал и С. Мелькнула изящная фигурка О. Ф. Потом исчезла, неся уже за собой груз двусмысленных взглядов. Через полчаса С. вызвали к телефону. Он вернулся белый, с дергавшимся на щеке мускулом: О. Ф. только что отравилась, вернувшись домой, но жива, ее отправили в Старо-Екатерининскую больницу.

...Три часа ночи. После блеска, говора, вина, электричества — приемная больницы, холодные и темные коридоры. Едва светит лампочка. Мы с женою и С. сидим и ждем. Сверху доносятся вопли, какая-то полоумная икота. Ольгу Федоровну водят под руки по коридору, не давая заснуть — способ борьбы с остатками яда, только что выкачанного из желудка.

Мы тогда, по наивности, думали, что это последствие ссоры с С. Но кажется, именно в тот вечер в клубе кто-то ясно дал ей понять, что ее подозревают.

В зиму же «процесса» она не появлялась уж нигде. Болезненную, полудикую жизнь вел и С. Он целыми днями дремал у себя в номере, бессмысленно бродил по улицам, приходил ко мне почти ежедневно — с воспаленным, как бы пьяным лицом, горячими руками... При его мучительном самолюбии, уже ранее растравленном неудачами, при недостатке моральной силы, вести жизнь «человека с пятном», «подсудимого» было ужасно. Иногда мы демонстративно «вывозили» его на люди, пренебрегая общественным мнением (державшимся к нему холодновато). Но чаще — играли в шахматы, или обсуждали подробности будущих заседаний, возможных нападений и ответов. Он становился маниаком.

В эту самую зиму, столь для него горькую, нашлась однако юная душа, совсем молоденькая девушка, слепо в него влюбившаяся именно потому, что он как бы «отверженный», что идя по Тверской в своем зимнем пальто и меховой оленьей шапке с наушниками, он не знает, поклонится ли ему встречный знакомый, или нет.

Эта девушка вышла за него замуж.

* * *

«Дело» тянулось всю зиму. Иногда нам казалось, что оно вообще никогда не кончится. В самом составе судей происходили перемены, мы думали, что они просто перемрут до окончания его. Судьи распалились тоже очень. Спор о тексте постановления шел, кажется, чуть не месяц.

«Приговор» оказался полной нашей победой. Суд выразил «Русским Ведомостям» порицание за неосторожность, с какою они возвели тяжкое и бездоказательное обвинение на неповинного человека.

* * *

С тех пор прошло семнадцать лет.

Те, кто тайком ходили к нам на «явки», ездят теперь в автомобилях, живут в Кремле, носят почтенный титул убийц наших детей. Те,

кто тогда волновались и спорили, друзья и враги — одинаково оказались в изгнании. «Русских Ведомостей» нет вовсе. Италия жива и всегда будет прекрасной Италией — но и она сейчас иная...

В анфиладе событий, катастроф и трагедий все рассказанное — песчинка. Но живые люди участвовали в нем, гибли, боролись и подымались — в малых размерах это и есть облик жизни.

Путята исчезла. Никогда больше не видал я ее хорькового лица, карих глаз, элегантной фигурки. Весной 1911 г. ее портрет, как «провокаторши» появился в газетах рядом с приговором. И дальше — забвение. Из Москвы она куда-то уехала. Перекинулась ли в революцию, вновь, по-иному, к большевикам? Была ли где-нибудь комиссаршей или нарядной чекисткой? Спекулировала ли? Или служила шпионкой иностранной державы? Прошел слух, что большевики расстреляли ее. Это очень возможно. О, как крепко боролась — думаю — за жизнь эта маленькая, хитрая, остро-пронзительная и в конце концов очень несчастная предательница.

И главное лицо пьесы... С. — Всяко в жизни бывает. Он просто победы не выдержал. Или слишком она запоздала? Страданья зимы раздавили его. Он уже не оправился. Впал в глубокий мрак. Все, как кошмар, преследовали его подозрения. Силы быть в ы ш е людей у него не нашлось, в Москве он не удержался и, женившись, погрузился в первоначальный свой быт — стал учителем в провинции.

Это был, одно время, ближайший мне человек. Мы любили друг друга. Многое вместе пережили, вместе начинали литературный путь, даже вместе жили. Странным образом, то самое «дело богемы», в которое оба мы столько вложили страсти, из которого вышли победителями — оно то и развело нас...

Я не знаю об С. ни звука.

Флобер в Москве

Нельзя сказать, чтобы у нас хорошо знали Флобера. При жизни перевел две его новеллы Тургенев («Легенду о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиаду»). Переводы эти очень полны, богаты, и как все, что писал Тургенев, проникнуты в языке духом свободы, непринужденности — чем от самого Флобера Тургенев очень отличался: во французском писателе было гораздо больше суровой выработки, зашнурованности. Переводы Тургенева отличны. Все-таки «Юлиан» вышел тяжелее, менее музыкален и шершавее, чем подлинный. Странным образом, наряд нашего языка кажется несколько грузным для этой вещи!

«Госпожу Бовари» перевели еще в шестидесятых годах. Позже — «Сентиментальное воспитание», «Искушение св. Антония», «Саламбо» (тоже при жизни автора) — и очень плохо. По этим лубочным изданиям никак Флобера узнать нельзя.

Как следует начал он просачиваться к нам в девяностых годах — посмертно. Семидесятые, восьмидесятые были у нас глубоко провинциальны. Флобер не пришелся бы к месту. Но в девяностых произошло некое освежение. Изменился подход к искусству. Ослабело давление «общественности». Художество заявило права нерушимые, как бы потребовало Великую Хартию вольностей — и получило ее.

Эту полосу мы по себе уже знаем, и не о ней речь. Но ее воздух оказался благоприятным для Флобера.

Одним из ранних его ценителей русских явился князь А. И. Урусов — диллетант-эстет, не профессионал, но человек тонкий и со вкусом. От блестящей адвокатской деятельности урывал он время для литературы. Прославлял Флобера в Москве среди писателей, артистов. Очень неплохо сам переводил отрывки из него. Флобера вознес в «Вечных спутниках» Мережковский (но сколь мне известно не переводил). Большими его поклонниками оказались Бальмонт и Бунин. К моему величайшему удивлению и Максим Горький.

* * *

В 1904 году попался мне от К. Д. Бальмонта урусовский экземпляр «Искушения св. Антония». Бывает, что лицо человеческое сразу, необыкновенно понравится. Бывает так и с книгою. С первых же звуков, слов Флобера, ощутил я, что это мой. Я в него влюбился. Флобер на некоторое время стал моей манией. Как истый влюбленный, я не допускал спора о нем, тем более — осуждения.

«Искушение св. Антония» вещь очень трудная, неблагодарная. В форме видений проходят в ней страны, народы, цари, иересиархи, красавицы, бесы, учители Церкви, звери, сам Диавол. В конце Христос является в диске солнца, как бы обнимая природу и мир. Все это втиснуто в триста страниц. Движения и развития нет. Вещь глубокой внутренней горечи. И глубокой поэзии. Держится вся на красоте слова. Некоторые звуки «Искушения» доставляли мне почти физическое удовольствие... Но удовольствие это — на любителя. Среди читателей немного поклонников было у него — находили скучноватым, вроде второй части «Фауста». Французской публике, при появлении своем, «Искушение» вовсе оказалось не по зубам. Русская могла судить лишь по отвратительному переводу, губившему все.

И вот мне вздумалось перевести его на русский. Предприятие очень рискованное, требовавшее больших знаний, силы в собственной словесности и — крепости, зрелости. Всего этого явно не хватало. Приходилось брать увлечением.

Я взялся страстно. Засел в Румянцевском музее за разных гностиков, за Василидов, Валентинов, за словарь Миня, историю Вавилона — и мало ли еще какой премудрости нет в «Искушении»! — хотелось же, переводя любимого писателя, знать все, о чем идет речь. Одновременно читались и другие его вещи — «Бовари», «Саламбо», «Три новеллы». Много радостного и прекрасного дал этот роман с Флобером, радость чистейшего искусства, радость учения, общения с великим художником, столь простым, благородным, одиноким. Среди зимы удавалось уезжать недели на три в деревню, под Каширой, и в отцовском доме невозбранно трудиться над флоберовским словом. Окно небольшой комнаты с ковром по стене над тахтой, с ротами и ружьями на них, голландской печью, всегда жарко натопленной, выходило на открытый балкон. Летом он тонул в жасмине. Теперь, в декабрьские дни, метель завивала по нем белые змеи, он весь в тумане, на стекле окошка налипли снежные узоры, иглы, звезды, фантазии не хуже таинственных стран Флобера. За небольшим столом бился некто над трудными местами мастера, искал, вставал, ходил... Метель трясла немолодую крышу дома, дергала ставни. Из окна тянуло холодом. Ритмическою прозой надо было описывать Царицу Савскую, Византию, Рим, Египет. (Особенно хотелось передать звучание флоберов-

ской прозы, ее музыку. На этом пути случалось пускаться и в сомнительные предприятия, чрезмерно напрягая язык).

Поддерживало то, что сам Флобер писал мучительно. Борьба, погоня его за словом (или фразой) были изумительны. Прелестны его художнические бдения в Круассэ, в одиночестве, манера самому себе вслух читать написанное... Иногда ночью я просыпался, под тот же зимний, пустынный ветер, и в ужасе вскакивал с тахты: зажигал свечку, как гимназист, недоучивший урок, бежал к столу, смотрел в рукописи — вдруг да ошибся на такой-то строчке!

Работа шла медленно. Заняла не менее года. Раза три перевод переписывался. Весь был испещрен поправками, вставками, зачеркнутыми словами.

Летом, от тех же Бальмонтов, получил я переписку Флобера, в четырех томах: книги принадлежали Александре Алексеевне Андреевой, сестре супруги Константина Дмитриевича. Ныне Александры Алексеевны нет в живых. Прекрасный человек, старый достойный литератор, прежняя Москва! — не могу без волнения вспомнить ее особняк в Брюсовском, ее книжные шкафы, ее самое — высокую, представительную даму, с очками на кругловатом лице... „Correspondance de Gustave Flaubert" — четыре тома в коричневых шагреневых переплетах — как связано это с Александрой Алексеевной, ее солидностью и добросовестностью, ее черным шелковым платьем с золотой цепочкой. И дальше — лето в деревне, дожди, сладкий запах жасмина, пушок весеннего тополя, упавший на страницу Correspondance. У себя во флигеле запоем читал я эти удивительные письма, лучше их ничего не знаю в эпистолярной литературе. Видел Круассэ, дом Флобера, Сену, его сад, жизнь суровую и одинокую, высшим достоинством проникнутую. И высшей грустью. „La vie n'est supportable, qu'en travaillant" — навсегда ленивому запомнились слова великого столпника нашего искусства.

* * *

В зрелости знаешь, что ни от чего мир не сдвинется, ни от твоих дел, ни от твоей жизни, ни от смерти. Некий высший смысл делания остается, конечно. Без этого все мы обратились бы в поденщиков. Очень загадочная вещь — смысл творчества! К счастью, в душе заложен непонятный разуму закон, или таинственная сила, через года, десятилетия влекущая все к одному: строителя — к строению, дельца к делам, политика к властвованию, художника к словам, звукам, краскам.

Это влечение над-жизненно. В зрелости повинуешься ему, как знаку свыше, и только. В юности кажется, что «дело» необходимо и для окружающего мира. Это дает, конечно, подъем огромный.

Мучась над Флобером, я был убежден, что малейший промах имеет всероссийское значение. Что я могу задеть священную особу Литературы. Что вся работа эта вообще необычайно важна. Кругом были каширские поля и молчаливые пейзане, в те времена загадочно помалкивавшие. Как страшно важно для них, хорошо выйдет Флобер по-русски, или плохо!

«Искушение» появилось в сборнике «Знания». Затем отдельным изданием, в «Знании» же. Солнце вставало совершенно как раньше. И в государстве российском никаких событий не произошло. Гонорар заплатили хороший — читатели же, как и прежде, находили, что «Искушение св. Антония» вещь... ну, скажем, тяжеловесная. Знавшие переводчика лично, опасались задевать при нем Флобера.

На смену «Знанию» вырос «Шиповник» (создатель его, З. И. Гржебин, покоится сейчас на здешнем кладбище). В одном из сборников «Шиповника» появилось в моем же переводе «Простое сердце» (там есть ошибка, до которой никому нет дела, и сами эти сборники разлетелись дымом по лицу Совдепии: меня же она и сейчас жалит). Друзья мои шиповники, Гржебин и Копельман, приезжая из Петербурга ко мне в Москву и у меня останавливаясь, много наслышались о Флобере. И задумали издать собрание его сочинений по-русски.

* * *

Когда Флобер умер, Тургенев, большой его почитатель и ценитель, опубликовал в России призыв подписываться на памятник Флоберу — первая попытка международной дружественности в литературе.

К стыду России она провалилась. Русские не доросли до общеевропейского чувства прекрасного. На призыв лучшего своего писателя не только не откликнулись — засыпали его насмешками (и оскорблениями!) за самую мысль о солидарности. Какой-то там Флобер! Собирать на Флобера! Тургенев получал ругательные письма.

Пишешь об этом с горечью — и за Россию, за Тургенева, и за Флобера. Но с чувством отдыха вспоминаешь, что все-таки, хоть через тридцать лет, некий реванш Флобер в России взял.

Огромные томы собрания сочинений выходили со статьями, примечаниями, вариантами. «Госпожу Бовари» перевела Чеботаревская под ред. Вячеслава Иванова, «Саламбо» — Минский, «Искушение» — мое, «Сентиментальное воспитание» — В. Муромцевой под ред. Бунина, «Письмами» занимался Блок, для «Трех новелл» взяли переводы Тургенева и мой. Издание не закончилось (не хватало, кажется, «Бувара и Пекюше»), помешала война и революция. Все-таки и то, что вышло, давало уже Флобера в подобающем виде. Издание это было некоммерческим: Флобер никогда никому прибылей не давал и сам умер в бедности. Тем более надо помянуть добрым словом почин «Шиповника».

Где сейчас эти отлично изданные книги? Кто их читает?

Пожелаем, чтобы для России будущего стал Флобер «Вечным спутником» — прекрасным и нужным обликом Запада.

Гоголь на Пречистенском

Пречистенский бульвар связан с чем-то повышенным, неопределенно-романтическим. Романтика начинается уже с Никитского бульвара, с дома Талызина, где жил и умер Гоголь. Это область купола Христа Спасителя: здесь всегда он плывет в небе над идущим — как золотистый корабль. И чем ближе к нему, тем сильней ощущение легкости, надземности. За Арбатской площадью, на Пречистенском, гений местности самое слово: Пречистая. Бульвар ведь, действительно, чище и тише, и благообразней других. Александровское училище, церковка, контора Уделов (где столько живал Тургенев), дом Рябушинского — и зеленый откос к бульвару. Зеленый и опрятный бульвар: дети с няньками, студент на лавочке с книжкой, розовый закат, сквозь наливающиеся почки лип. Летом прохладно от густой листвы. Ранней весной — первый обтаивает откос, глядящий на юг и первая зазеленеет на нем травка. Вообще же, вспоминая милое это место, всегда ощущаешь свет и облегчение.

Гоголь любил Пречистенский бульвар. В нем самом не было светлого, но стремление к красоте — Рима ли, Италии, наших золотых куполов — всегда жило. И то, что прославить писателя Москва решила на Пречистенском, не удивляет. В 1909 г. исполнилось столетие со дня рождения его. На Тверском бульваре Пушкин уже входил в пейзаж, задумчиво поглядывая со Страстного на площадь с трамваями. Очередь дошла до Гоголя. Времена были мирные, денег достаточно. Памятник заказали скульптору Андрееву, Николаю Андреевичу, и разослали приглашения на празднество по России и Европе.

* *
*

Той зимой жили мы в Риме. Уезжая весной из Москвы, бросили квартиру, лето провели в деревне, а там в Италию. Возвращаясь, не очень-то беспокоились об устройстве: Москва велика, где-нибудь да

приткнемся. (Все тогда в нашем кругу так жили: неужели стали бы заводить «обстановочки», сберегательные книжки и т. д.?).

И на этот раз мы не ошиблись. Получили две комнаты большой квартиры на Сивцевом Вражке, у близкого нам человека. Занимали низ старинного особняка. Мои окна выходили во двор, за забором которого стоял дом Герцена. Наискось жил Бердяев — его кабинет смотрел на герценовский двор. Была теплая, серая зима, со снегом, после Италии холодным. В нашем доме все шло чинно, несколько и в старомодном духе. Девочки ходили в гимназию, горничная Домаша в белом фартуке аккуратно подавала на стол в большой столовой. В окнах тащился на санках Ванька, по ухабам Сивцева Вражка. Домаша, три месяца назад приехавшая из Рязанской губернии, жеманно говорила, что уж ничего не помнит, как там живут у «мюжиков». Одним словом, была вокруг старая, простецкая и приятная Москва — вплоть до этого самого Николая Андреевича, соседа, скульптора из Большого Афанасьевского. Я его знал довольно хорошо. Некогда, в ясные январские утра ходил к нему в студию, огромную, светлую, где он сажал меня на вертящийся стул, вертел туда-сюда как игрушку — вертел и тот глиняный бюст, что лепил с меня.

Для самого Гоголя не нужна была натура. Но для Тараса Бульбы (в барельефе постамента) позировал ему Гиляровский, всей Москве известный, толстый, добродушный старожил, ходивший в поддевке и высоких сапогах — журналист, правда, смахивавший на Тараса Бульбу.

Николай Андреевич сам был крепкий человек, мещански-купецкого происхождения, с густым бобриком, бородою лопатой, острым и живым взглядом. Руки у него сильные, и весь он сильный, телесный, очень плотский. Гоголь мало подходил к его складу. Но вращался он в наших кругах, литературно-артистических. Розанова, Мережковского, Брюсова читал. Более сложное и глубокое понимание Гоголя, принесенное литературою начала века, было ему не чуждо, хоть по существу мало имел он к этому отношения. Во всяком случае, замыслил и сделал Гоголя не «творцом реалистической школы», а в духе современного ему взгляда: Гоголь измученный, согбенный, Гоголь видящий и страшащийся черта — весь внутри, ничего от декорации и «позы». Одним словом, памятник не выигрышный. Кажется, и проект его вызвал сопротивления: находили, что писатель получается что-то мизерный. Не только генеральского нет в нем, но больше смахивал на хилую, пригорюнившуюся птицу (Гоголь сидит, как известно — в тяжкой и болезненной задумчивости).

Все же проект утвердили. Зимой памятник поставили, в самом начале Пречистенского, против стены тира Александровского училища. Но был он еще закрыт — до торжественного момента.

Весна выдалась холодная, в апреле перепадал снег с дождем. Гоголю предстояло явиться без блеска: подлинно хмурою личностью литературы. Всем заведовала Дума и Общество Любителей Российской

Словесности. Западники, славянофилы, ссорившиеся на пушкинских торжествах, перевелись. Литература делилась на «реалистов» и «символистов». Не было никого сколь-нибудь равного Тургеневу, Достоевскому (Толстой не в счет, он доживал последние дни)... Чехов в могиле. Надо сознаться: и «реалисты», и враги их отнеслись к Гоголю равнодушно. «На Пушкина» съехалась вся братия (Тургенев даже из-за границы). Гоголя удостоили совсем немногие — неловко даже вспомнить...

Открывали памятник в сырости, холоде, липы едва распускались. Трибуны окружали монумент. Народу много. Помню минуту, когда упал брезент и Гоголя мы, наконец, увидели. Да, неказисто он сидел... и некий вздох прошел по толпе. Потом Грузинский, Председатель Любителей Словесности, говорил речь...

Алексей Евгеньевич, пожилой, основательный профессор, читал на женских курсах русскую литературу. Сейчас был параден (во фраке, пришлось доставать цилиндр), несколько бледен, но бодро и привычно сказал, что полагается.

В официальных торжествах всегда есть сторона печальная — надо упомянуть о «великом художнике», «светоче, ведущем нас по пути добра и красоты» — удивляться и негодовать на это не приходится. Так было, так будет. Все это давно описано у Флобера (сельскохозяйственный съезд в «Мадам Бовари»), наслушались мы таких речей и на гоголевских торжествах.

Первое открытое заседание было днем в Университете. За отсутствием писателей, пришлось говорить людям далеким от литературы, но «почтенным». Ясно запомнилась на трибуне в актовом зале фигура знаменитого кадета-юриста. Говорил он крепко, самоуверенно, сильно выпячивая белую крахмальную грудь. Видно, что знает цену себе и словам своим — мы же, слушавшие, так и не поняли, что в них ценно.

Были иностранцы, представители университетов. Из французов Мельхиор де Вогюэ, Лирондель. Немцы отсутствовали. У Вогюэ лучше всего был зеленый академический мундир. Англичанин — в длинном черном сюртуке, стоячих воротничках, бритый, мягко-благодушный. Говорил ровно, скромно и почтительно. Вероятно, хорошо. Я понял только два слова: gogolian realistik. Они казались мне очень смешными, и вызывали веселое настроение.

А в общем... Московский Университет, профессора, дамы, черные сюртуки, бороды, интеллигентские голенища из-под брюк, академики на эстраде за столом... какая скука!

Нельзя сказать, чтобы скучно оказалось на другом собрании, в Консерватории. Выступал там Валерий Брюсов.

* * *

«Но последний царь вселенной,
«Сумрак! Сумрак! — за меня».

Мало знал я писателей, кого так не любили бы, как Брюсова. Нелюбовь окружала его стеной; любить его, действительно, было не за что. Горестная фигура — волевого, выдающегося литератора, но больше «делателя», устроителя и кандидата в вожди. Его боялись, низкопоклонствовали и ненавидели. Льстецы сравнивали с Данте. Сам он мечтал, чтобы в истории всемирной литературы было о нем хоть две строки. Казаться магом, выступать в черном сюртуке со скрещенными на груди руками «под Люцифера» доставляло ему большое удовольствие. Родом из купцов, ненавидевший «русское», смесь таланта с безвкусием, железной усидчивости с грубым разгулом... Тяжкий, нерадостный человек.

Я сидел на эстраде, когда вышел он к рампе читать речь. Помню его спину, фрак, выдававшиеся скулы, резкий, как бы тявкающий голос. Из всех выступавших он единственный придумал нечто своеобразное. Гоголя считал «испепеленным» тайными бурями и страстями, художником-гиперболистом, далеким от меры Пушкина. Сравнивал выдержки из него с Пушкиным, и как бы побивал его им.

Все это очень хорошо, одного не было: капли преклонения, любви. Речь *не для* юбилея. Не того ждала публика, наполнявшая зал. Понимал ли он это? Вряд ли. Душевного такта, как и мягкости никак от него ждать нельзя было. Он читал и читал, его высокая худая фигура разрезала собой пространство, в глубине дышавшее толпой. Но с некоторых пор в живом этом, слитном существе стала пробегать рябь. Что-то как будто вспыхивало и погасало: сдерживались. И вот Брюсов, описывая Гоголя физически (внешний облик, манеры), все сильнее стал клонить к тому, насколько он был непривлекателен. Когда упомянул что-то о его желудке и пищеварении — в зале вдруг прорвалось.

— Довольно! Безобразие! Долой!

Кое-где повскакали с мест, махали шляпами, студенческими фуражками, тростями.

— Не за тем пришли! Позор! Похороны какие-то!

— Не мешайте! Дайте слушать! — кричали другие. Раздались свистки. Свистали дружно, в этом нет сомнения. Брюсов побледнел, но продолжал. Было уже поздно. Публика просто разозлилась и улюлюкала на самые безобидные вещи. Распорядители волновались — «скандальчик» в духе праздника гувернанток в «Бесах». Единственно что мог сделать — и сделал Брюсов: наспех сократил, пропускал целые страницы. Кончил под свист и жидкие демонстративные аплодисменты.

* * *

Так что гоголевские торжества проходили неважно. Единственно весело оказалось на ночном рауте в Думе.

...Около полуночи подымались мы по лестнице, среди разодетой, нарядной, живой толпы. Николай Иванович Гучков, городской голова, во фраке, во всем параде встречал прибывающих у входа. Залы быстро наполнялись. Много было света, гула, знакомых и незнакомых; с кем-то здоровались, кому-то нас представляли...

Москва показала тут гостеприимство. Фрукты, угощения, цветы, шампанское. Какие-то опять речи — кажется, приветственные иностранцам — но все это быстро потонуло в общем и веселом гомоне. Разбились по компаниям, расселись по столам и началось московское объядение и хохот. Мало походило это на Европу. И благонамеренный gogolian realistik в пуританских воротничках не без удивления озирался, как и старый Вогюэ в зеленом мундире с пальмами.

Мы засели с Василием Розановым. Кто-то подсаживался, кто-то отсаживался, лакеи таскали бутылку за бутылкой шампанское — могу сказать, хорошо я тогда узнал Розанова... — всю повадку его, манеру, словечки, трепетный блеск небольших глазок, весь талант, зажигавшийся чувственностью, женщиной. Очень был он блестящ и мил в ту дальнюю ночь гоголевских торжеств.

Все шутки его, и блестки отблистали, как и ночь прошла. Мы возвращались на рассвете мимо Гоголя того же, детища Николая Андреича, из-за которого столько наговорили ораторы. Гоголь сумрачно сидел на бульваре. У ног его, с барельефов, глядели Чичиковы, Хлестаковы, знакомый Гиляровский-Бульба. Воробьи чирикали. Бульвар был пустынен.

Праздники кончились. Наша жизнь пошла нам данной чредой — гоголева по-своему. Как и при жизни, мало его любили. Одиноким Гоголь прожил. Одиноким перешел в вечность.

Но напрасно отнеслись к нему так жители Москвы. Памятник вовсе не плох; и в пейзаж бульвара вошел — внес ноту скорбную. Можно удачнее его сделать. Но и мимо такого не пройдешь: среди зелени распускающейся Пречистенского бульвара задумчивей будешь продолжать путь.

Ю. И. Айхенвальд

„Te spectem suprema mihi cum venerit hora,
„Te teneam moriens, deficiente manu".
«На тебя буду смотреть в последний мой час,
«К тебе припаду слабеющею рукой».

Это двустишие, приведенное в одном из моих рассказов, в последнее время занимало Юлия Исаевича. Он дважды писал весною моей жене: «Спросите Б. К., откуда взяты эти стихи?»

Я ответил: кажется, из Катулла. И показалось странным, почему они его так пристально интересуют?

Летом в Берлин приезжала к нему из Москвы жена, Нина Кирилловна — погостила и уехала (вся его семья в Москве). Юлий Исаевич снова остался один. Он жил скромно, почти бедно, писал в «Руле» литературные обзоры, читал лекции, давал уроки. Бессмысленный трамвай раздробил ему череп. Он впал в беспамятство. Не приходя в себя, скончался. Ни на кого он не смотрел в предсмертный час. Ни на чью руку не опирался.

Юлий Исаевич был очень замкнут, очень весь «в себе». Он плохо видел, носил очки большой силы. (Никогда не видал звезд. Путешествовал по Италии, но не полюбил ее: не рассмотрел. И смерти своей не увидел). За этими очками жил глубиной и чистотой души, очень сильной и страстной, очень упорной. Литература, книги — вот его область. Он писал о писателе так, как видел его в своем уединенном сердце, т о л ь к о т а к, и в оценках бывал столь же горяч, столь же «ненаучен», как и сама жизнь. Все его писания шли из крови, пульсаций, из текучей стихии. Можно было соглашаться с ним или не соглашаться, одобрять или не одобрять его манеру, но это был художник литературной критики и, за последние десятилетия, вообще первый русский критик.

Как все страстные, он бывал и пристрастен. Вознося Пушкина и Толстого, резко не любил Гоголя и Тургенева. Театр отрицал вполне.

Не выносил Белинского, за что много поношений принял от учителей гимназий.

Из живущих, действующей армии...

...Тут одна его черта очень ясна: никогда он не обижал слабых, молодых, неизвестных. Напротив, старался поддержать. Но «кумиры» повергал. Брюсов находился в полной славе, когда сказал о нем Айхенвальд: «преодоленная бездарность». То же произошло и с Горьким («Горький и не начинался...»).

Айхенвальд возрос на немецкой идеалистической философии. Хорошо знал Канта, Гегеля, особенно ему был близок Шопенгауэр. Отлично перевел он «Мир, как воля и представление» — точно по-русски написана эта книга в его изложении.

В нем самом была горечь, тот возвышенный, экклезиастовский пессимизм, который можно не разделять, но мимо которого не пройдешь. Вот уж поистине: любил он красоту, и жизнь, и свет, но оплакивал мир. Грубость, насилие, свирепость, все, что с такой полнотой поднесено нашему поколению, было для него безвыходной печалью. В себе самом он носил начало Добра. И в платоновские идеи верил. Но последнего Добра, воплощенного, кажется, целиком в сердце не принял.

Война потрясла его. По самому началу он решил, что победит Германия, а Россия погибнет. В первом он ошибся. Но Россия, его породившая, Россия, которую он любил безмерно, пушкинско-толстовская Россия пала — тут он угадал.

* *
*

Юлий Исаевич жил в Москве на Новинском бульваре, в семье, тихой трудовой жизнью. Читал лекции на женских курсах, в воздухе девической влюбленности. Был отличный оратор. Пред началом выступленья, слегка горбясь, протирал очки и ровным голосом, словами иногда играющими (он любил фиоритуры) живописал литературные портреты.

На кафедре, как и в трамвае, у себя дома был одет тщательно, и скромно. Всегда безукоризненные манжеты. Ослепительные носовые платки. Чуть-чуть пахло от него духами.

Особенно силен он был в полемике — сильнее, чем в лирическом утверждении. Мы с женой присутствовали однажды на его сражении из-за Белинского (в Москве, в Клубе Педагогов). Учителя гимназий шли на него в атаку бесконечными цепями. Он сидел молча, несколько бледный. «Как-то Юлий Исаевич ответит?» — спрашивали мы друг друга шепотом. Он встал и, прекрасно владея волнением, внутренно его накалявшим, в упор расстрелял их всех, одного за другим. Он бу-

квально сметал врагов — доводами точными, ясными, без всякой грубости или злобы. Просто устранял.

Грубым Юлий Исаевич и вообще не мог быть, если б и захотел — джентльмен-рыцарь. За это время, что его нет уже в живых, все вспоминаешь его, и сквозь душевное волненье, слышишь его тихий голос, видишь изящные руки, застенчивую улыбку, его манеру наклонять голову и слегка поддакивать ею, его сутулую фигуру, даже излюбленные его белые отложные воротнички и запах духов — если не ошибаюсь, ландыша. Вот он в пальто с барашковым воротником, не первой молодости, спешит на лекцию по снежным улицам Москвы, еще мирной, вот ведет детей своих, одной рукой мальчика, другой — девочку — через Арбатскую площадь. Ах, если бы эти мальчик и девочка шли с ним и по улицам Берлина в тот роковой день... не писал бы я этих строк.

Но его семья в Москве. Шесть лет прожил он одиноко в немецкой стране, одиноко и умер в ней.

* *
*

Помню его в революцию. Вместе мы бедствовали, холодали и недоедали, стояли за прилавками Лавок Писателей. Вместе страдали душевно (что скрывать: много страдали).

Юлий Исаевич был одиночка, аристократ, художник. И — из тех, кто «к ногам народного кумира не клонит гордой головы». Аристократ, всю жизнь работал и всегда ходил в потертом пальто, и деньги презирал, и аскетически жил. Но никакой хам не мог заставить его облобызать себя. Да, он сильно умел любить и ненавидел как следует. Злой ткани в нем не было, но от зла он отталкивался. Ничто не привлекало бы его к нему. Он сказал раз светловолосой девочке в эмиграции, его «единомышленнице», как он выражался:

— Если весь мир, Наташа, признает их, то мы с вами не признаем. И ваша мама.

В этом он весь. Он не переносил самогона, махорки, чубаровщины. Живя до своей высылки в Москве, не умолкал. В Союзе Писателей, на Тверском бульваре, вскоре после убийства Гумилева прочел восторженный доклад о Гумилеве и Ахматовой.

Разумеется, его в конце концов выслали.

* *
*

В том же Союзе Писателей. Для принятия в члены требовалось представить книгу. Ее давали читать кому-нибудь в правлении. Нередко Айхенвальду. Прочитав, часто он говорил:

— Ну, конечно, очень слабо...

— Значит, не принять? (У нас были довольно строгие требования «уровня» литературности).

Тут низвергатель Белинских и Брюсовых всегда отвечал:

— Нет, отчего же. Зачем мы его будем обижать.

Он улыбался застенчиво, потряхивал курчавыми волосами, вынимал свой безукоризненный платок, распространявший запах духов, но сдвинуть его с места, переубедить было нельзя. Он сидел за своими очками, как в крепости. В ней решал про себя и для себя разные вопросы — и уж тогда дело кончено: ему легко было отдать что угодно из вещей, денег, но себя, свои мнения, свою истину он никому уступить не мог. Мнения его иногда бывали причудливы. Но мы все, его сотоварищи по правлению, знали отлично: как бы ни был расположен сердцем к тому, к другому из нас, мнения своего не изменит. Он спокойно голосовал один против всех. Впрочем, это, кажется, была и в жизни излюбленная его позиция: именно один, именно наедине с собою, своим сердцем.

Для людей очень «современных» Айхенвальд должен казаться старомодным. Он не скрывал своего пассеизма. Он даже особенно на нем настаивал — революция у него, как и у многих, обострила это чувство. У него были некоторые нерушимые позиции, с которых он и действовал. Для людей спорта и фокстрота он неинтересен. То, что он любил, тому, в сущности, всегда поклонялось и поклонится человечество в лучшей своей сердцевине — доколе оно не обратится в механических «роботов». Он не любил смотреть «вперед», но его очень любила молодежь, и у него всегда был для нее привет, сочувствие, внимание. Как ясно представляю я его себе, например, среди молодежи монпарнасского христианского движения!

Ибо за старомодною его внешностью, за нелюбовью к Маяковским и тому подобным, жила в нем душа очень яркая, очень своя, очень утонченная и сложная.

Он как-то не признавал Истории, течения и изменения жизни. В этом был, может быть, односторонен. Но История не была ему нужна, ибо он жил светом души, светом Вечности.

* *
*

Он любил тишину, книги, семью, детей. Он провел конец своей жизни в грохоте европейской столицы в полном одиночестве. Он ненавидел машины и «цивилизацию». Машины отмстили ему и убили его в расцвете сил.

П. М. Ярцев

Для одних — «известный театральный критик и драматург», для меня Петр Михайлович, «Ярчик», как его мы звали.

Редеющие, каштановые волосы, зачесанные назад. Большой лоб, впору шекспировскому. Под ним светлые, огромные глаза, так глубоко засаженные, что глядят точно из пещер, обрамленных крепкими, костистыми арками — худоба и остроугольность их удивительна. Низ лица явно стремится к треугольнику с рыжеватой бородкою. Мягкая и не первой юности шляпа, черный галстук, длинный сюртук, крылатка и серые матерчатые перчатки, голова несколько вдавлена в плечи, брови насуплены — так проходит Ярцев в скромном старомодном облике своем по переулкам Москвы, близ Арбата, по Плющихе, в Левшинском...

Петр Михайлыч появляется в моей памяти зимою 1905 года. Художественный театр репетировал тогда «У монастыря», трехактную лирическую его пьесу. Автора вовсе не знали в литературе. Что-то ставил он в Петербурге, чуть ли не у Суворина. Но Художественный театр... Сразу мог он дать славу, деньги, положение. Говорили, что Немирович увлекается новой пьесой и новым драматургом. Драматург жил в небольшой квартирке на Плющихе. В кабинете его висел Ибсен, лежало несколько книг. Стол был покрыт серым сукном, обои серо-зеленоватые. Тут писал, курил, пил крепчайший черный кофе хозяин. Он и дома сидел в сюртуке — очень длинном, не весьма новом. Нечто и донкихотское, и монашеское было в его облике.

Ему поручили отдел театра в одном журнале — он меня пригласил писать. Кажется, я почти ничего и не написал, но мы познакомились и сдружились на многие годы.

Репетиции шли. Он потирал тонкие руки, шагал из угла в угол ибсеновского кабинета. Московские морозы трещали за окном с темными занавесками. Приближалась премьера — декабрьская новинка театра.

Кто пьесы ставил, знает, что такое театр. Вероятно, легко это поймут любители азартной игры. Ни книга, ни журнал ничего общего с театром не имеют. Театр есть встреча с публикой без ширм — с т о л п о й. В ее руках успех или провал. В том дуновении сочувствия или вражды, какое вызовешь. Нельзя угадать чувств многоглавого противника. Что-то «доходит», что-то «идет в гроб» — сам великий знаток театра, сам Немирович не раз ошибался.

Неясно помню содержание пьесы. Вращалась она вокруг любви — сложных и туманных чувств. Одно действие происходило в гостинице при монастыре — за окнами снег, зима, Качалов ходит по сцене в мягких, белых валенках. Некую роль играет букетик ландышей. Германова была прелестна. Но пока на сцене мечтательно разговаривали, в зрительном зале упорно молчали, молчанием равнодушным.

Знаток театра ошибся. Если «доходила» тишина чеховская, то ярцевская не дошла. Спектакль медленно, как-то беззвучно уходил в небытие — без раздражения или неодобрения: просто соскальзывал.

В антрактах кое-где появлялся автор в длинном сюртуке, с прекрасными глазами, нервными, худыми руками. Зрители равнодушно беседовали о постороннем.

* *
*

Пьеса, написанная «для себя», успеха не имела. Она шла — выдержала десятка полтора представлений, но автора не прославила. Ярцев остался тем же: глубокой и тонкой натурою артистической, публику не победившей. Он держался замкнуто, благородно. По-прежнему пил крепкий кофе, курил в ибсеновском кабинете, пожимал сухощавые руки и много о чем-то думал.

Он жил совершенною птицей небесной. Более беззаботного, бессеребреного и неприспособленного человека я не встречал. Правда, и время было особенное. Четверть века, прошедшая с тех пор, кажется столетием. Что сказал бы кто-нибудь из нас о пайках, смычках, пятилетках! Считалось, что настоящий человек — это романтик, живущий неуловимыми томлениями сердца, красотой (стиха, Италии, театра). «Хлеб наш насущный» — второстепенно. (И по более легким условиям той жизни хлеб этот легче и приходил. К у л ь т а же сытости не было)...

Все-таки, вспоминая Петра Михайловича, думаю, что будь он один, вряд ли бы выдержал: мера его отвращения к практицизму все превосходила. Но за ним стояла подруга, верная и преданная, Мария Зиновьевна, Мария и Марфа одновременно. Она его опекала и берегла. Делила радости, горести, волновалась писанием, волновалась и тем, как платить за квартиру, где достать денег. Ее мягкая, большая фи-

гура, тихий голос, улыбка черных глаз — тоже неразрывно с ним связаны, как и он с ее обликом.

Ярцев отрицал собою всякий склад и порядок. Никакое «крепкое и зрелое» общество не может на таких людях держаться. Или он загадочно пьет свой кофе, или уходит — неизвестно куда и неизвестно насколько.

— Петр Михайлович, ты будешь дома обедать?

— Да, Машенька... Да, может быть, буду.

— Я ведь должна наверно знать.

— Ну да, конечно... Я непременно постараюсь.

Одно дело стараться, другое знать. Петр Михайлович был тогда глубоко богемен. Над чашкою кофе мог сидеть без конца в кафе, что-то записывать, о чем-то размышлять. Встретившись с кем-нибудь из молодежи, мог оказаться в кабачке, от сумрачной молчаливости перейти к нервической оживленности, якобы загореться — поправляя галстук и откидывая назад волосы увлекательно говорить о театре, все на нервах, на нервах... Где же тут знать, когда вернешься? И что именно приготовила Машенька, и на какие деньги!

— Это не то. Это мелочи!

Мы издавали в то время журнальчик «Зори». Ярцев был деятельнейшим сотрудником его и соредактором.

После редакционных собраний — чаще всего у Ярцевых — шли бродить по Москве, спорили на бульварах, заседали в кафе или ресторанчике «Богемия» — случалось, там и раннюю весеннюю зарю встречали.

Ярцев любил такую жизнь. Будучи старше нас, загорался не меньше. Хотя нередко — так же быстро и гас: глубоким неврастеником был всегда, и всегда в сердце его лежало зерно горечи. Душевное опьянение лишь временно затопляло эту горечь.

«Романтический человек с раненою душой» — так можно было бы определить его. Он мечтал об особенном театре, (исходя, впрочем, от Станиславского), о высоком, духовно-облегченном искусстве. Ему хотелось, чтобы чувства на сцене сквозили чистейшими, прозрачными красками. Действительность, даже в Художественном театре, этого не давала. Чаще всего несла она успех «Детям Ванюшина».

Огромность требований Ярцева к театру, к любви, к жизни ставила его в тяжкие положения. Во многом и неуспех «Монастыря» с этим связан.

* * *

На углу площади, у Москва-реки, выходя фасадом на Храм Христа Спасителя, стоял большой красный дом, выстроенный затейливо в стиле северного модерн: с крутоскатною крышей, отделкою зеленой майоликой, большими окнами — известный «дом Перцова». Там были

и квартиры, и отдельные студии. В квартирах жили люди более солидные. В студиях художники, актрисы. Там тихо обитала «монахиня» Художественного театра Бутова, удивительный облик благочестивой художницы сцены. Там, с нею рядом, помещался Александр Койранский, — «Саша Койранский» — острый, живой, печальный и резкий. Женоподобный Поздняков пробегал нередко коридором. Осип Самойлович Бернштейн таил свои шахматные комбинации, Балиев начинал «Летучую мышь». Много известных и видных людей Москвы — артистов, литераторов, художников перебывало тут.

В одной из студий Ярцев «раскинул свой театральный шатер». Он увлекался опытами молодого интимного театра. Пожалуй, это была завязь позднейших театральных начинаний типа Вахтангова и Михаила Чехова. Выбрал он для постановки мою небольшую пьеску «Любовь». Как всегда, намерения его были предельны. В вещи лирической, нетеатральной, написанной с молодой восторженностью хотел он передать какой-то трепет, пафос, опьянение. Исполнители — молодежь, барышни из театральных школ, начинающие актеры. Барышни благоговейно смотрели на его глубоко-запавшие глаза, но на репетиции запаздывали. Актеры — то кто-нибудь заболевал, то меняли исполнителя, то репетиция начиналась после полуночи, когда кончался театр. Все шло нескладно, беспорядочно. Но создавало удивительный быт. Около репетиций толклись и посторонние. Получался не то клуб, не то кафе, не то театр. Беспрерывно варился кофе, на низких диванах полусидели, полулежали зрители и исполнители, нельзя было и разобрать кто за чем пришел. Среди ночи пили коньяк. Приезжал Леонид Андреев, треугольный Мейерхольд, кто-то играл на рояле. Борис Пронин, помощник режиссера Художественного театра, с открытой шеей и белым отложным воротничком как у Блока, вихрем носился, вздувая энтузиазм. Художник писал какую-то декорацию, но впрочем, никто толком не знал, будет ли декорация или все пойдет «на ухнах». Главное же, никто не знал, откуда взять денег и как, собственно, все это показать.

— Милый, мама, голуба, — кричал Пронин. — Все будет! Все чудесно устроится... Ах, да, все будет замечательно!

Петр Михайлович пил черный кофе, и устало закрывая глаза, привычным жестом поправляя на голове волосы, говорил:

— Да да. Все будет. Все придет. Главное — да. Остальное все мелочи. Это так. Да. Остальное — не надо.

Но тут срывался Борис Пронин, терзая свой артистический галстук.

— Боже мой! О, я идиот! Без десяти восемь. Через десять минут давать занавес в Камергерском... Боже мой!

И улетал.

Мы проводили чуть не целые дни в этом коловращении. Иногда можно было уйти с Ярцевым в ресторан и тоже просидеть часов пять.

Раз случилось, что мы трое — он, я и переводчик Владимир Высоцкий, общий наш друг и приятель Пшибышевских и Тетмайеров, на таком ресторанном заседании чуть не уехали за границу — так, ни с того ни с сего. Выработали даже маршрут — Краков, Венеция, Вена, что-то в двенадцать дней — и в мечтах пережили все прелести поездки.

Глупо все это? Может быть. Но жилось интересно. Не нам одним. Почему-то толпился же народ в нашей «студии»?

* * *

Предприятие развалилось, разумеется, деньги оказались не такой «мелочью». Некоторое время Ярцев, в нелегких условиях, прожил еще в Москве. Потом перебрался в Киев.

Его привязанность к театру не остыла. Начались годы театрально-критической работы. Он писал в «Киевской Мысли». Но максимализм не оставлял его. Он всегда требовал предельного. Кого любил, тому поклонялся (Станиславскому, например). Но и к любимому был строг. То же, что отвергал, отвергал начисто. В жизни изящный, безобидный, неспособный питать злобу, в писании бывал и резок, беспощаден. Многие актеры ненавидели его.

В Киеве с ним произошел скандал. Однажды, когда в длинном своем сюртуке, скрестив на груди руки, сидел Петр Михайлович в партере, ожидая поднятия занавеса, на авансцену вышел некто и заявил, что пока Ярцев в театре, актеры не желают играть. Ярцев поправил волосы, застегнул сюртук, встал и спокойно вышел. («Это не то! Это не главное!» — сказал, вероятно). Но оказалось именно, что главное. За ним поднялась и ушла, в знак протеста, вся киевская пресса. Премьера осталась без рецензентов. Актерам пришлось туго — такого случая насилия над критиком еще в театре не бывало. Киевские рецензенты выступили затем сообща, печатно. За ними поднялись русские писатели и драматурги и в столицах. Актерам предстояло или сдаться, или попасть под бойкот полный. Они предпочли первое. На этот раз Петр Михайлович победил вполне, сам, разумеется, никак не действуя.

Из Киева попал, затем, в Петербург. Тут писал в «Речи» у Гессена и Милюкова. Художественный театр защищал страстно и во всеоружии (весной художественники всегда являлись в Петербург с новыми постановками). Станиславский окончательно пришел тогда к своей теории театра (внутреннее переживание актера, «сквозное действие», и т. п.). Всем этим он делился с Ярцевым в беседах долгих, увлекательных, всегда Петра Михайловича воодушевлявших. Так что писать он мог о Станиславском не со стороны, а изнутри. Его статьи того времени, вероятно, лучшее, что написано о Художественном театре.

Из Петербурга же уехал он однажды с томом «Братьев Карамазовых» (Достоевского всегда глубоко чтил) в Оптину. Монастырь оказал на него великое, удивительное действие. Всегда ища в жизни и в искусстве чистоты, красоты, святости, он нашел их в Оптиной. Образы старцев — он застал, если не ошибаюсь, о. о. Анатолия и Нектария — показались ему ни с чем несравнимой высоты и красоты. «Смирись, гордый человек» — Петр Михайлович специфически гордым не был, но тщету, засоренность, грязь нашего земного рядом с истинно-святым почувствовал. Своеобразно он ощутил старцев, беседующих с простым народом — как величайших артистов, полных духовного искусства. Помню, он говорил, что в глазах, руках, благословляющем жесте Анатолия кроме всего прочего была несравнимая театральная красота. Она являлась непосредственным выражением духа.

С «Братьями Карамазовыми» в руках изучил он каждую мелочь оптинского пейзажа, обстановки, быта, проверяя Достоевского: и нашел, что при всей свое фантастичности, здесь Достоевский очень точен.

Петр Михайлович написал об Оптиной несколько замечательных статей. Их следовало издать книжкой. Но не таков был Ярцев, чтобы заботиться о жизненном, реальном.

* *
*

Сам родом из Коломны, почвенною любовью любил он все русское, особенно же московское. С годами эта любовь росла. В литературе он держался Достоевского, Лескова, Аполлона Григорьева. Театр признавал лишь национальный. Очень высоко в нем ставил Островского и Чехова. И в жизни — к самой Москве, ее храмам, «древлему благочестию», складу, говору, московским людям, московским извозчикам, трактирам, Замоскворечью, баням, — питал неистребимую привязанность.

Одно время, перед войной, жил в номерах на Балчуге, у Чугунного моста. Тут далеко уже было от Прониных и Мейерхольдов. Вставал очень рано, часов в шесть, и шел куда-нибудь в простую чайную. Ему нравились «человеки» в белых рубашках, расписные чашки и подносы, крутой кипяток, простые русские люди в поддевках, с намасленными проборами, торговцы, прасолы. За «парой чая» сидел Ярцев и писал, любуясь видом на Кремль, золотым лучем солнца, типами Островского у прилавка.

Полагал он теперь, что театр должен выражать народную душу, суть, теплоту. Щепкина считал основателем русского театра, Станиславского (родом с Хивы, за Яузою) его достойным продолжателем.

Мы встречались в это время часто. Ездил он и ко мне в деревню. Любил землю нашу, сено, ржи, яблоки, телеги и березы, дрожки, мягкий пейзаж средней России. Мы гуляли довольно много и в Москве, тогда еще мирно-благодатной. Помню, он водил меня в трактир Егорова в Охотном ряду — примечательность московская, о которой не имел я понятия. Невзрачный двухэтажный дом рядом с «Континенталем». Внизу извозчичий трактир, во втором этаже «купецкий». Сюда сходились с раннего утра чаевничать охотнорядцы. В невысокой комнате столики, сидят распаренные купцы, пьют чай (тоже с шести утра! — в десять вечера все закрывалось). В клетках канарейки. Ярославцы и владимирцы, в белом, бойко разносят подносы с чайниками, кипятком и стаканами, чудными калачами, баранками. Днем можно обедать. Тут главная приманка Егорова — удивительнейшие осетры, балыки, растегаи, рыбные солянки — все это на грязноватых скатертях, с колченогими вилками к приборам, с деревянными солонками, но качеством не уступая первоклассным «Эрмитажам», «Прагам».

Трактир Егорова любил Островский. Мы и обедали в комнате Островского — боковой, с камином, вечно пылавшим, с особыми канарейками, потертыми диванчиками красного бархата и большой, потемневшей картиной во всю стену, если не ошибаюсь, что-то китайское на ней изображалось*).

...Тепло, пахнет ухой, поддевками, синеватый туман, дрова трещат, благообразный немолодой владимирец в белом переднике, вкуснее говорящий по-русски, чем та осетрина, которую только что поставил, подает нам шкалик «Ерофеича»: кроме егоровского трактира не было по Москве нигде этого Ерофеича — николаевских времен водки, настоенной на травах. И на потертом диванчике мы сидим... сколько и о чем можно наговориться с Петром Михайлычем, когда он в духе, в ударе — в обстановке, ему нравящейся!

* *
*

Все это кончилось. Подошла война, революция, не до театра стало, не до поэзии и любования Москвой. В октябре впервые дрогнули купола Кремля под шрапнелями большевиков. Эти шрапнели рвались и над Савеловским переулком, вблизи Остоженки, где жил тогда Ярцев с Марией Зиновьевной. Как и другим, как всем нам, пришлось им быть свидетелями унижения и разгрома Москвы.

...Я попал из деревни в Москву побежденную, — под ранним зимним снегом, с сумрачным карканьем ворон на крестах церквей, с разрытою кое-где мостовой, чуть не со следами запекшейся крови. Впро-

*) Комната эта столь знаменита, что когда в Александринском театре ставили пьесу Островского, режиссер и художник приезжали к Егорову писать декорацию.

чем, снежок все заметал — вводил в страшную зиму голода, холода, примусов, разобранных заборов.

Как и все, дрогли и голодали Ярцевы, в сумеречной квартире первого этажа по Савеловскому. Мария Зиновьевна боролась отчаянно. Откуда-то добывала крупу, хлеб... порциями аптечными. Петр Михайлович подтапливал печурку — чем придется. Он такой же все был худой, так же погружен в Русь, так же поддерживался и духовно, и внешне, все тою же Марией Зиновьевной. Когда нечего было есть, сидел покорно и тихо. Питался любимым кофе. Изможденный и тощий, в бархатной кацавейке жены, накинутой на плечи, с воротником живописно раскинутым вокруг тонкой шеи, подобно жабо, походил остроугольным лицом и бородкой на испанского гранда. Изгнание начиналось для всех нас. Петр Михайлович мог терпеть голод и холод, но не орду, не татарщину, в чьих руках мы оказались. Крики газет, афиши на стенах, митинги, волчьи зубы вокруг, муть, кровь, заплеванность... горько и вспомнить.

Иногда в изнеможении, закрывая огромные глаза, окончательно ушедшие в пещеры, сидел он подолгу перед разгоревшейся печуркой, неподвижный, полумертвый.

— Петр Михайлыч, съешь, вот тут осталась корочка.

— Нет, ничего, Машенька. Я не голоден. Я не хочу есть. Это не то.

Голод был для него «мелочь», «не то»...

Не имея ни средств, ни, в сущности — сил, сверхъестественным напряжением воли женской, женской любви, вывезла-таки его Мария Зиновьевна из Москвы. Они «отступили» на Киев.

И затем... все, что полагается русским на юге: ужасы разных «властей», погромы, чуть не пешком новые отступления, до самого Понта Эвксинского, до кораблей, увозивших троянцев от пылающего Илиона.

* * *

Я не видал больше Ярцева, и никогда не увижу. Но теперь, вспоминая эту жизнь полную тревог, горестей, бедности, энтузиазма и преданности в ы с о к о м у, с большой радостью (странно сказать: почти гордостью) думаю о завершающих, изгнанических ее годах. С великим счастием замечаю, что в болгарской столице не пал, а вырос Ярцев. Не растерял в Энеиде своей, а приобрел. Глубокую любовь к России вывез вместе с верной подругой и на чужой земле потрудился.

Он работал режиссером в болгарском Народном театре. Оптина и «Святая Русь» не прошли даром. В театральный свой труд внес он всю страстность с л у ж е н и я, бескорыстного и безоглядного. В мои годы, в Москве, лишь начинал путь обращения. В изгнании его заканчивал. Редкий, и р у с с к и й случай: деятель театра, проникнутый Церковью. Это дало ему, думаю, особые силы. Сгладило угловатости, успоко-

ило, как-то внедрило в жизнь. Все это чувствовали. И маленькая квартирка Ярцевых стала особым центром — привязанности, благожелания, любви. «Весь театр, школа, актеры, от самого маленького до большого любили его нежно, и в трудных условиях болгарской жизни находили у него прибежище. Все болгарские писатели, художники шли к нему». (Из письма). «...Дом был радостный, теплый, уютный... шли люди и находили успокоение у него. Он был очень просветленный и мудрый, очень был религиозен, посещал все службы, молился утром и вечером и ежедневно заходил в церковь».

Последняя его постановка была «Горе от ума». На ней он и надорвался. Приходилось торопиться, спешить к сроку — он сам наблюдал за швальней, носился из этажа в этаж вверх и вниз, даже не пользуясь лифтом. «Он был как на крыльях, и вся швальня работала весело и радостно для него. Они его обожали. Когда кончили все, первый портной подошел к П. М., обнял его и стал целовать в плечи и все повторял: «Как я вас люблю, Петр Михалич».

Верно и «Петр Михалич» любил простых болгарских людей, как некогда простых русских — находилась в немолодом «Ярчике» теплота, доброта.

После спектакля он слег — не сразу даже к доктору обратились... причина все та же (нужно, чтоб было чем платить). Начались жжения в груди. Смерть пришла мгновенно, он скончался на руках Марии Зиновьевны.

Ярцев, будто бы человек мирный, тихий, все свои годы воевал. С упорством, страстностью, любовью нечто отстаивал. Умер он на позициях. Самое страшное — быть побежденным: сдаться, в холоде, равнодушии. Он прекрасный пример несдавшегося, непобежденного. Богатства он не нажил: денег не любил, они к нему не шли, тоже не любили. Но вот, сломить его «князь тьмы» не смог.

В глубокой горечи его утраты чувствую и радость:

Не посрамил земли русской Петр Михайлыч.

Надежда Бутова

...На родине, в Саратове, она была учительницей. Высокая, худая, диковатая, все помалкивала, тайком копила деньги, молча рассталась с сестрой, села в поезд и однажды вышла на вокзале московском из вагона третьего класса, в поношенной шубке, с потертым чемоданчиком, пледом в ремнях. Кончилось дело с Саратовым. Начались меблированные комнаты Москвы. Стала она разучивать стихи, басни, отрывки. И на экзамене в школе Художественного театра внимание привлекла. Чем? Саратовским напором, мощию земли, темпераментом глухим и целомудренным?

Нельзя сказать, чтобы красотой: красива не была. Лицо весьма русское, может быть, и с татарским оттенком — несколько широки скулы, с ярким румянцем, загорелым, худым румянцем; над скулами же глаза непомерной бирюзы. (Могут эти глаза быть ласковы, могут быть почти страшны). Голос низкий и глуховатый. Крепкие тонкие руки, прекрасные волосы. А во всей ней деревенское нечто, крестьянское: повязать платочком, послать на поденную, а потом в хоровод песни петь. Или черничкою в монастырь.

— Для монахини пригодится на сцене, для цариц опальных, для Островского... Рост, понятно, велик...

Может быть, и не сказал так экзаменатор, а бессознательно пролетело в нем и бессознательно рост легкою грустью скользнул: не полагается головой выше всех быть на сцене.

Все равно. Ее приняли. Стала она ученицей, упорной и страстной. Иначе уж не могла, по натуре. Ночей от волнения не спала, перед Станиславским благоговела. Но и характера оказалась нелегкого. Всегда что-то сидело в ней свое, любимое или нелюбимое. За любимое могла жизнь отдать, с нелюбимым лучше не подступайся. С младости была набожна, истова. Любила порядок, чистоту, строгость. Не выносила

курения, неряшливости, актерской распущенности. Некое древнее упрямство было в ней, раскольничье. Двести лет назад за двуперстное сложение жизнь бы отдала — не постеснялась бы.

Художественный театр всегда заглатывал актера — из китова чрева, в сущности, хода уже не было. А особенно для актрис. Актрису молодую и податливую, можно «разработать» как угодно, и будет она говорить не «я», а «мы, Художественный театр», и каждый звук голоса Станиславского, каждое его движение станут ее собственными: искренно она уверена, что *это и есть она*.

Надежда Сергеевна тоже говорила «мы», восторженность Художественного театра в ней сидела, но и свое было. Одолеть его не удалось никому, хотя дар ее не принадлежал к крупным, скорее направлялся вглубь: неблагодарный дар. Впрочем выигрышного, удобного для успеха в ней вообще ничего не было. Успех в эту судьбу не входил.

Но чем дальше шло время, тем *свое* разрасталось. Тем труднее с ней становилось.

* * *

Я знал Надежду Сергеевну уже «взрослой», известною актрисой, строгой, требовательной, несколько в тени, без шумной популярности, но с прочностью. Была она как бы и совестью Художественного театра, его праведницей. (Головой выше физически, головой выше душой). В труппе держалась одиноко, прохладно: не помню особенных ее приятелей из актеров. «Я не могу ни с кем жить вместе, близко», говорила она. И никакие капустники, никакие попойки не занимали ее (конечно, зубоскалили актеры над ее отшельничеством: но побаивались).

Платья она носила темные, волосы пышно зачесывала назад. На груди крест. В толпе сразу заметишь ее худую, широкоплечую фигуру, над всеми возвышающуюся. Разговор тихий, степенный, но могла и смеяться по-детски. Не дай Бог рассердить ее — и особенно важным, не пустяком, а идейным: новозаветный человек, она впадала и в библейский гнев.

Жила холостяком, в студии красно-зеленого, северного модерн дома Перцова, против Храма Христа Спасителя. Соседи в коридоре тоже были у ней актеры, художники. Огромное окно выходило на храм. Кремль виднелся направо, Москва-река, мост. В студии у нее прохладно и «благолепно». Вот где не может уж быть богемского беспорядка! Иконы в углу, лампадка, деревянный стол, русская скамья. Вышитые полотенца, серого сукна диван (Художественный театр!). Фотографии Станиславского, Немировича, Чехова. Много книг на полках. Картины,

рисунки современных художников — иногда и соседей по перцовскому дому.

«Под образами» можно в пять часов пить у ней чай, разговаривать — беседа всегда интересна, нечто горнее в ней, как и в самой хозяйке. Скучно никогда не было, и плоско тоже никогда.

В долгих наших, и ушедших разговорах, театр присутствовал неизменно — главнейшее для нее. Говорила она медленно, ища слов: старалась точно передать, что нужно. Закрывала глаза, бралась за виски, глуховато выцеживала...

Радостно беседовать с художником, с тем, кто искусством своим дышит, насквозь его знает и может сказать живое (а значит, и новое: всегда живое есть новое). Надежде Сергеевне с годами теснее, неуютнее становилось в театре. Terre à terre Станиславского, плотскость его, гоньба за «жизненными» мелочами, затрудняли. Хотелось большего. Это не удавалось. И она много томилась.

— Он... великий актер, что там говорить, и искатель... Ну, вы понимаете, этот человек в вечном беспокойстве, вечно добивается... он не может просто так сделать... — она сжимала себе виски, разводила длинные руки, как бы дорисовывая пальцами: ему надо наполнить... чтобы образ весь налитой... и все подробности... свои, созданные.

Потом останавливалась, говорила еще тише и уж совсем ясно, даже легко:

— Но он не поэт. Поэзии, духовного не чувствует, для него этого нет, он весь, весь, тут... и литературы не чувствует и многого — высшего — вовсе не знает. Комедийный актер, не духовный...

Вот чего ей хотелось. Не нравились клистирные трубки Мольера, смешные штучки «кавалера» в «Хозяйке гостиницы». Античная трагедия, может быть, Достоевский, Шекспир, Кальдерон...

Для нее самой мало на сцене оказывалось подходящего. В «Трех сестрах» была она одной из сестер, но надолго не удержалась — может быть, из-за росту (и большей силы, чем там нужно было! Не тот темперамент, не тот тон). Замечательно сыграла у Островского Манефу — («Идет Егор, с высоких гор...») — и тоже не совсем в тоне спектакля. Дала гротеск, силу подземную, дикую... вспомнила свой Саратов. Но инокинь, древних цариц, как и Федр, Медей не было в репертуаре. Играла она всегда страшных старух — превосходно, но мало.

Театр не совсем заполнял, не совсем радовал.

Было у ней и другое: женское сердце. Можно знать ее внешнее, роли, театр, послужной список. Чувств не узнаешь. Замкнута, запечатана. Лишь временами доходило дыхание того, от всех скрытого. Иногда особенный блеск глаз, иногда некий стон...

Трудно об этом говорить.

* * *

Подошла революция.

В театре собирались ставить оперетку. Надежда Сергеевна переехала из дома Перцова. Теперь была у ней квартира — небольшая, столь же чинная и поднебесная, только окна в сад выходили. Среди деревьев выступала церковка московская. Что-то от келии, монахини вошло, упрочилось здесь навсегда. Но с великою нежностью соседствовал и великий гнев. На слова скорби, беды могла отвечать она взглядом утешения необычайного, ласки, любви. А когда зашла речь о комиссаре, прежнем знакомом ее, завернулась в платок, голову вдавила в плечи, длинною рукою погрозила:

— Проклинаю! Проклинаю и его и всех их!

И была похожа на боярыню Морозову, которую у Сурикова везут в санях в ссылку, а она высохшею рукой, в цепях утверждает двуперстие. Трудно укрощать страсти. Смирилась ли она? Или так и ушла, раздираемая? Духовник только может об этом знать. А мы знаем другое, и удивляемся, например, тому, как не засадили, не убили Надежду Сергеевну, прямо в лицо называвшую убийцами кого следовало, не подававшую руку сановникам, на всех перекрестках громившую их. От нее не было пощады. (И теперь, когда нет ее, можно сказать: ей обязан жизнью видный белый — ныне тоже умерший — у ней за ширмами чуть не месяц скрывавшийся. Что ж, и чеку, и смерть встретила бы она в грозном спокойствии). Многие ее боялись. Некоторые не любили — она стесняла. Но другие преклонялись. Всегда вокруг нее ютились некие благоговейные девицы. Их она пригревала, одаряла чистотой своей и светом. Занималась в студии, ставила пьесу Тагора, вдалеке от суеты, предпринимательства большой сцены. Театр мог быть ей близок теперь лишь как храм. Лишь высочайший звук могла она в нем допустить. И уж не ей, понятно, принимать участие в банкете Луначарскому. (Давал Художественный театр)...

Все больше отдавалась она Церкви. Православие у ней было страстным, прямым, аскетическим, мученическим. Она читала много Евангелие, св. Отцов, молилась, постничала. Киот над аналоем появился, вся квартирка стала похожа на церковь и внешне, да и внутренне, излучением своим. Сама она как будто все росла, но и худела, и светлела. Духовник ее был о. Медведь, а потом перешла она к известному о. Алексею Мечеву.

Надежда Сергеевна принадлежала к нашему кругу, средне-интеллигентскому. Но вот не все же в нем «рыхлые интеллигенты»! Ничего вялого не было в ней. Инокиня-актриса, праведница в веригах на сцене: редкая и яркая фигура, может быть, слишком для женщины силь-

ная, облик Руси древней... — то, что можно еще в жизни любить. И о чем вспомнишь почтительно.

Как многим праведницам, ей дана была смерть мучительная. Горловая чахотка заела ее. Но душевно сломить не могла (хоть и стенала Надежда Сергеевна, и тосковала по-человечески). Одна она не оставалась. Те же преданные девицы сменялись у ее ложа.

В страшный мороз, солнечный, с жгучим ветром, шли мы за ее длинным гробом. Москва замерзала и голодала. Надежда Сергеевна не видала уже ее позора.

Пред Художественным театром, в Камергерском переулке служил о. Алексей Мечев литию.

III.

«Мы, военные...»

ЗАПИСКИ ШЛЯПЫ

I.

Юным студентом, обитая на Арбате, проходил я нередко по Знаменке в Румянцевский музей, и на углу площади Арбатской, с памятником Гоголя, булочной Савостьянова и старинной церковкой, видел приземистое здание, двухэтажное, с колоннами, времен начала XIX века. Знал, что это Александровское военное училище, и был глубоко к тому равнодушен. Училище и училище. Выпускает пехотных офицеров, мне до этого дела нет. Меня интересуют книги и литература. Я всегда очень любил Москву. Меньше всего, однако, могли бы меня заинтересовать: лагеря на Ходынке, кадетский корпус в Лефортове, да училище на Знаменке...

* *
*

Летом 1916 года призвали ратников ополчения 2-го разряда.

Не желая идти на войну солдатом, я решил поступить в военное училище.

Странная была та осень в деревне — последняя обычная, человеческая. Вот запись о ней:

...«Березы Рытовки, и узенькая тропка, по которой выходили мы на зеленя, покой равнин, серые вечера сентябрьские с красной рябиной, зеркалами прудов, криком совы и лиловой луной из-за леса — все осталось, как воспоминание прощальное и светлое. Однажды, выходя из леса, набрели на гнездо птички, опустелое. Взяли с собой. Сентиментальность? Но так захотелось. Пересекли межой поле, и внизу Притыкино, пруды и мельница, деревья парка. Колокольня мирно по-

дымалась из ложбины. И спокойный, мягко сероватый лик небес, дымки над деревнями, дальний лепет молотилки, дальняя, как облачко, стая грачей, свивавшаяся, развивавшаяся над овинами, все ясное, родное... так пронзительно печальное, как будто мы навеки с ним прощались».

Навеки не навеки, но 1-го декабря подъезжал я, на извозчичьих санках, в новых высоких сапогах, с чемоданчиком, к фронтону того самого здания на Знаменке, мимо которого высокомерно некогда проходил. Попрощался с женой у подъезда, и как сноп был подан в неведомый мне, и казавшийся суровым, барабан. Десятки таких же снопов с разных концов России и Москвы подавались в те же самые двери, в большинстве молодежь. Но они были веселей, бурней и беззаботнее меня.

Низкая прихожая, лестница наверх, огромные коридоры, огромные, холодноватые залы и дортуары. Вот нас переодевают — в цейхгаузе какой-то бойкий тип раздает гимнастерки и шинели: вернее, все сами набрасываются на груду этого добра, он только наблюдает. Скоро нечто мешкообразное, с погонами, однако, оказывается на мне. Я заранее наголо острижен, этот форменный наряд, высокие сапоги, сразу меня топят: не чувствую себя прежним. Что-то случилось. Меня зачисляют во вторую роту. Я юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска. Должен маршировать, «строиться» к обеду, «строиться» на молитву, по трубе вставать... мне должно бы быть не тридцать пять, а двадцать лет... И так далее.

Первый день было чувство, что просто попал в тюрьму. Никто мне ничего дурного не делал. Но меня самого, т а к о г о, к какому привык, с книгами, рукописями, медлительными прогулками — больше не существовало. Был юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска, и притом «шляпа»*). Шляпа, разумеется, первосортная. С военной точки зрения такое существо не радует. Но и у шляпы есть душа, сердце, воображение. Например, лежит этот юнкер-шляпа впервые на своей койке в роте. Огромная колонная зала. Холодновато, сумрак. У столика дежурного маленькая лампочка — небольшое пятно света. В аккуратных станках винтовки. Рядом, сбоку, насупротив храпят юноши — мой сосед, двадцатилетний Бартенев задувает изо всех сил (обычная его мольба впоследствии: сразу же тормошить при утренней трубе, а то никак не проснется). Раз, другой в ночь войдет дежурный офицер, пройдет по роте, с дежурным юнкером при тесаке: проверит все ли в порядке, правильно ли сложено платье у спящих (полагалось складывать его аккуратно, и перевязывать ременным поясом, не туго, но и не слабо. Кое-где офицер подымает этот пакетик жалкий: «Велите подтянуть туже...» «Слушаюсь, ваше высокоблагородие...»).

Шляпе не спится. Что такое? Где это он? Почему острижен, лежит

*) Слово жаргонное. Означает безнадежно «штатского» и нерасторопного человека.

в холодной зале? Вот она, новая жизнь! Это только начало. Это еще «мир», война впереди. Если мир таков, что же самое-то, «настоящее»?

И часы бегут, в тоске, одиночестве. Добегают до какой-то странной и даже таинственной минуты, когда серо-синеватая мгла в окнах и вся пустынность колонной залы вдруг разрывается от рева дикого, неистового, — вряд ли устояли бы и стены Иерихона! Половина шестого. Сигнал к жизни. Мощь его расчитана именно на Бартеневых и им подобных, на силу молодого сна.

Начинают в холоде копошиться фигуры. Зажигается свет. Один за другим тянутся в умывальную заспанные «извозчики» (первая, царская рота называется «жеребцы», мы, вторая, «извозчики»). А потом строят «к чаю»; длинными, гулкими коридорами сходят роты одна за другой (их у нас двенадцать) — в полумгле, в начинающемся зимнем рассвете вниз в огромную столовую, где молитва и чай с булкою за деревянными столами, а там вновь строят, вновь ведут — лекции, строевые занятия, гимнастика: машина заработала.

* *
*

Мы, вновь прибывшие, называемся «фараонами». Нас надо обломать, хоть сколько-нибудь привести в военный вид, и только тогда можно пустить в отпуск (мало ли опасностей на воле: а вдруг встретишь генерала, да не станешь вовремя во фронт, прозеваешь резвого капитана, только что вернувшегося с фронта? Сядешь в театре, не спросясь у старшего по чину офицера? Жизнь сложна). И вот, кто хочет в субботу идти в отпуск, должен выдержать «экзамен чести». Это для шляп дело нелегкое. Казалось бы, не так уже хитро: бодро и весело подойти, остановиться, сделать под козырек, отрапортовать, повернуться и отойти... Но это целая наука! Элементы гимнастики (может быть, и балета) входят сюда. И не мало надо попотеть, прорепетировать со своими же, прежде чем командир роты пропустит. Но тогда завоевано право отпуска, священное право, то, чем все здесь дышат и о чем мечтают старые и малые, простые юнкера и портупеи, шляпы и строевые орлы.

Кроме отпуска есть еще развлечение в трудовой жизни: три раза в неделю, с пяти до семи, ждут нас в приемной жены. сестры, друзья — к нам является уголок прежней, «милой» жизни. Но и в залу эту, полную благожелательных, веселых лиц со всяческими приношениями (конфеты, пирожки, яблоки, мало ли чего можно натащить в Москве еще человекообразной) — к ним туда не так-то легко проникнуть. Некие Церберы стерегут. Надо пройти через маленькую дежурную комнату и сделать, казалось бы, простую вещь: подойти к дежурному по училищу офицеру, взять под козырек и сказать, что юнкер такой-то роты просит разрешения пройти в приемную. Тут-то вот и

таятся для шляпы опасности. Обыкновенный юнкер войдет, быстро исполнит номер — и уж он среди болтающих и восхищающихся дам, барышень, невест. Шляпе грозят отовсюду опасности.

I. Распахнув дверь, с перепугу он не заметит, сколько звездочек на погоне дежурного и на беду бахнет капитану:

— Господин поручик...

Или поручику:

— Господин капитан...

Но тогда дело предрешено:

— Кру-гом!

II. Или он разбежится и у самого столика как вкопанный замрет со своей сакраментальной фразой (а надо за два шага, до столика) и тогда опять:

— Кру-гом!

III. Или, в ужасе, вместо «в приемную» скажет «в отпуск» и снова:

— Кру-гом!

Но жизнь научает. Шляпе тоже ведь хочется повидать родных. И он «ловчит»: заранее разузнает, кто дежурный, и в каком чине, в отворяющуюся дверь на глаз размерит, где сделать балетное па — в конце концов малые эти пустяки не остановят: в приемную все-таки прорвешься.

И какая радость — видеть родное лицо, получить какие-нибудь шоколадки... Когда человеку живется туго, всякая малость так освежает, так помогает...

Но особенно, конечно, важен отпуск.

В отпуск идут по субботам — и лишь те, кто за неделю чист и безупречен, преступлениями не замаран, репетиции сдал. Последнее не так-то легко. В четыре месяца надо пройти двухлетний курс — хоть наскоро и с сокращениями — все-таки трудно и в дне нашем все рассчитано по минутам, до одиннадцати по вечерам мы зубрим. (Помню одно свое поражение: двойку по топографии — не туда как-то заехал по карте. Ночь без сна, удвоенное зубренье, на другой день у того же немца двенадцать, и в отпуск все-таки ушел).

Час отпуска — час блаженный. Одеваемся, чистимся, друг другу оправляем пояса, складки шинели на спине.

— Отпускные, стройся!

Выбегаем, толкаясь, как маленькие, в коридор. За некую мзду тип в цейхгаузе выбрал выходную шинель получше, обменил прежнюю. То же и с фуражкой. Сапоги вычищены, пояс затянут, пряжка с орлом сияет. Иногда стоим с первой ротой, с «жеребцами» — они по одной стенке, мы по другой. Все в хорошем расположении духа. Пока не пришел офицер, развлекаемся, как умеем. У нас свои задиралы, у них свои.

— И-го-го-го! — гогочет какой-нибудь наш Гущин, румяный и веселый парень. — Го-го! — и делает вид, что поднимается на задние ноги, скачет на одном месте...

— Эй, извозчик, — кричит правофланговый жеребец: — в Большой театр, полтинник! Живо! В Оперу опоздали!

Гущин копытом роет землю.

— Т-с-с!

Дежурный офицер. Все волшебно меняется. Ни жеребцов, ни извозчиков, замершие, в струнку, грудь вперед, голова несколько на отлете, юнкера, — те, что веселыми, молодыми телами, делают на дворе ротное ученье, ходят за Дорогомилово в поход, маршируя бойко поют «Взвейтесь, соколы, орлами...»

Осмотр опять касается того, все ли в порядке, туго ли стянуты пояса, все ли пуговицы на месте — Александровец должен быть в отпуску на высоте своего училища.

И вот, хлопнула тяжелая входная дверь, заснеженный тротуар, десятки молодых лиц, проезжающий Ванька (на этот раз настоящий уже извозчик, а не символический), Арбатская площадь в сизости сумерек, галки на золотом кресте церковки.

Молодежь разбегается. Шляпа весело, но и осторожно идет к себе на Арбат, норовит больше переулками. Того и гляди, из-за памятника Гоголя, в сумерках выскочит какой-нибудь штабс-капитан, и ты вовремя не откозыряешь...

— А подать сюда Ляпкина-Тяпкина.

Или же другая крайность: вдруг козырнешь земгусару (в сумерках все кошки серы: генеральный штаб, земский союз... да не дай Бог, еще гимназист взрослый пролетит на лихаче... Жутко подумать, если и ему честь отдашь).

Но впереди дом, свой угол, жена, Арбат, что может быть радостней субботнего вечера!

II.

Да, блажен отпуск, блажен вечер субботы. В двух комнатках переулка у Пречистенки все кажется так светло, чисто и уютно! Пусть бы и не две, а одна, но вот с этим мирным снегом за окном, с вороной на дворе, смешно прыгающий около корки, с кустиком, запушенным белым... Благовест церкви рядом — знаменитой приютской Дурновского переулка — тоже особенный: милого московского захолустья. (Там замечательный хор, чудная служба. Если бы не усталость, хорошо бы по чуть протоптанной тропке дойти ко всенощной).

Но никуда не пойдешь. Никакого желания двигаться. Столько надвигался, столько напрыгался на параллелях, набегался в строевом учении — только б лежать, пить чай, читать — самое большее газету, и чувствовать, что ни фельдфебель, ни дежурный офицер в эту комнатку с образами и мещанскими занавесками не войдут, не придется вскакивать, как угорелому и опять садиться по команде:

— Занимайтесь своим делом!

Здесь, если заглянет, то какая-нибудь Аксинья или Матрена, полуотворит дверь, робко высунется: дома ли, мол, барин? Самоварчика свеженького не поставить ли? Барин дома, он в субботу всегда, безнадежно и как-то райски дома... и бесконечно может распивать чаи. Ночью же будет, просыпаясь, бормотать спросонку:

— Встать! Смирно! На первый-второй расчитай-сь!

Но уже воскресный день — иной.. Вечером надо уходить. Горизонт мирного утра с калачом, бубликом, свежим маслом омрачен дальней тучей. Ее почти не видать, но она надвигается — медленно, неотвратимо. До завтрака бóльшая часть неба светла. «Мы», здешние, — из Дурновского, еще в большинстве. С двух-трех часов перевес получают «они»: военная машина на Знаменке, пред которой мы ничто.

К девяти надо возвращаться. Тут все точно, очень строго. Если опоздал хотя бы на несколько минут, месяц без отпуска. Так что держи ухо востро! И держали. Лишь самые отчаянные являлись к третьему звонку. Шляпы забирались раньше. Шляпа грустно появляется у колонн фасада, часов в восемь с чем-нибудь, и простившись с другом, ныряет в знакомые, на блоке, двери.

В передней светло. Дожидаются несколько юнкеров.

— Кто нынче дежурный?

— Капитан Тимохин.

Ладно. Хоть и из «Войны и мира», да зато наверно знаешь, что уж капитан. И через две минуты, в дежурной комнате, вытянувшись пред Тимохиным, вовсе на толстовского непохожим, гаркнет шляпа:

— Господин капитан, юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска из отпуска прибыл!

«Прибыл»! Какое важное событие. Прибывают цари, призиденты... Скромный же воин, столь торжественно прибывший, полутемной лестницей взбегает во второй этаж, пустынным, гулким коридором идет к себе в колонную — «извозчицкую». Койки еще пусты. Темно, холодно. Лишь в глубине, у столика дежурного, лампочка под темным абажуром (бедняга целый день сидел тут, сторожил стены и винтовки — дежурство его выпало на субботу).

— Ну вот, — говорит он, зевая, — распишитесь. Хорошо погуляли?

* *
*

Меняется жизнь, но меняется и человек. Каждая утренняя труба, каждое умыванье на холоде, каждый обед внизу в столовой как-то его меняют. Через кобылу, конечно, до гробовой доски шляпа не перепрыгнет, и в строю его фигура не из блестящих (портупеем никогда не быть), но в пределах шляпских своих возможностей он пообтесывается и привыкает. Учится хорошо. Устает сильно. Телом похудел,

подтянулся, живет изо дня в день, почти без дум, едва поспевая за непрерывным, неустанным ходом жизни. Есть в его монашеско-военном бытии малые радости и кроме отпуска: время от половины пятого до четверти шестого. Тут имеет он право растянуться у себя на койке, пожевать шоколадку, принесенную женой, и блаженно, с детской простотой на несколько минут выйти из условий жизни — зачерпнуть иного мира, тоже бессвязного, но от барабана далекого. . . Именно несколько минут. Та же труба, что зовет к суду утром, так же разрывает уши ревом в неизменную минуту. Перемирие окончено. До трубы можно лежать не вставая, хоть бы сам батальонный вошел. Теперь надо вставать, хотя в роте и никого нет.

Да и не очень належишься. Раза два в неделю репетиция. Днем на лекциях, готовиться можно лишь по вечерам — и до одиннадцати клонятся стриженые юнкерские головы над учебниками.

Самое страшное в пехоте — артиллерия, в Александровском пехотном артиллерийский полковник Александер: живой, бодрый пятидесятилетний человек, бодростью-то и нагоняющий на юнкеров ужас.

— Юнкер, чем же пушка отличается от гаубицы?

Ему почти весело, он того гляди захохочет, а пехотинец помалкивает.

— А какова траектория? . .

Юнкер краснеет. Полковник же чувствует себя превосходно.

— Юнкер, если не умеете говорить, может быть, нам споете?

Юнкер и петь не умеет. Юнкер не знает ничего и о взрывчатых веществах. . .

— Следующий!

Полковник совсем развеселился. Радостно ставит ноль. (Странным образом, шляпе именно у него и повезло: получил двенадцать, очень редкий балл. Друзья-извозчики устроили ему овацию. И он ощущал славу более, чем выходя на вызовы в театре Корша, на премьере пьесы).

Зато ученейший и старенький генерал по фортификации, кротостью больше походивший на монаха, подвергался беззастенчивым жульничествам. Правда, предмет его трудный. Хорошо ему, старичку в золотых погонах зигзагами, всю жизнь рисовавшему всякие брустверы да блиндажи: он-то их наизусть помнит, вероятно, во сне способен изобразить какое-нибудь «укрытие». А мы только укрываемся от разных репетиций. . . — да и вообще разве можно такую науку, инженерно-строительную, усвоить в четыре месяца?

Выход простой: самопомощь. Пока генерал грустно объясняет что-то слабым, как у ветхого священника, голосом юнкеру у одной доски, к другим доскам, где томятся два других юнкера, летят подкрепления: выдранные странички из лекций.

— Господа, прошу потише!

Бывает так, что стрела с подкреплением упадет у самых ног гене-

рала, или он обернется в ту минуту, когда юнкер Гущин вслух читает бестолковому юнкеру Гундасову страницу учебника.

— Па-а-громче! Не слыш-но! Па-жалуйста, па-а-громче!

Генерал страдальчески вздыхает.

— Господа, я принужден буду налагать взыскание...

Все вытягиваются, лица беспредельно постны, добродетельны. Ни в какие генеральские взыскания никто не верит. Но конец странички Гущин через несколько минут читает, все же, тише.

— Па-а-громче! — слышится от доски.

— Пажа-луйста, па-а-громче!

* * *

«Рождество Твое, Христе Боже наш», пели в церквах: «воссия мирови свет разу-ума». Юнкеров распустили на три дня. В Дурновском была елочка. Мы с некою грустью прятались за ней от будущего — фронта, невдали уже рисовавшегося, всех раскатов, ужасов войны. Но многого не понимали и не различали еще в жизни. Мир же все не понимал «света разума», вернее, от него отрекался. Те же бойни шли, и сама родина наша, сама Россия и Москва близились к страшному рубежу.

Новый год встречали у друзей, в роскошной квартире близ Мясницкой. Ужин был мало похож на юнкерские. Воронежская хозяйка, тяжелого купеческого рода, блеснула жемчугами, угощением. Хрусталь сервировки, цветы, индейка, мороженое, шампанское, поляк лакей в белых перчатках, дамы в бальном, мужчины в смокингах... — прежний русский мир точно давал последнее свое представление: спектакль перед закрытием сезона.

Кроме приятеля моего, хозяина — европейского приват-доцента государственного права — помню другого приват-доцента, анархического, помню еще кой-кого из всем известных московско-российских фигур. Но вот запомнился больше других в тот вечер Кокошкин, может быть, и потому, что не сразу меня узнал.

— Боже мой, вы... стриженый, в этой странной на вас форме...

Кокошкин был надушен, элегантен, кончики его усов, вздымавшихся полукружиями, слегка покачивались, когда нежнейшим платочком проводил он по ним. (Эти усы помню еще с университета, студентом, когда у него держал экзамены). Кокошкин остался все тот же, такой же культурно-нарядный, такой же московский «кадет», интеллигент, способный, кроме государственного права, поговорить и о музыке, о Вячеславе Иванове.

Говорили, конечно, много о войне. Розовый доктор Блюм, с серебряной шевелюрой, бодрый, веселый, все и всех знающий, явился поздно. Блестя глазами черносливными, вкусно выпил водки, закусил

икрой, обтер салфеткой ус с капелькой растаявшего снега. Наливая вторую рюмку, благодушно кивнул мне и через стол чокнулся.

— Ура! За армию и за победу до конца!

Опрокинул рюмку, проглотил, и засмеялся так раскатисто и весело, точно победить было ему нисколько не трудней, чем выпить эту водку.

— У меня самые свежие новости. Да, мы были на волоске, едва не заключили мира. Не забывайте, что императрица и вся партия ее... немецкой ориентации... Сепаратный мир, а? Как это вам понравится?

Он обвел всех взглядом ласково-победоносным.

— Сепаратный мир, когда Германия и до весны не продержится!

— А вы долго будете держаться? — спросил кто-то.

— Да, но позвольте, вам известно, сколько теперь вырабатывают в день шрапнелей на заводах?

Поднялся спор. Блюм так распоряжался шрапнелями и пулеметами, точно они лежали у него в кармане.

В двенадцать часов, разумеется, чокались, пили шампанское (за победу, за скорый мир, за всеобщее счастье — мало ли за что можно пить в веселую минуту, за обеденным столом, при ярком свете, хрустале, дамах, цветах?). Было шумно, и как всегда под Новый год грустно-весело. Все же, шла война. (За «серых героев» тоже, конечно, выпили). Не все были так радостно-самоуверены, как Блюм. Кой у кого сжималось, все же, сердце, смутным и волнующим щемлением.

...Мы вышли поздно. По Москве морозной, цепенеющей от холода, мчал нас лихач в Дурновский. Знакомые созвездия неслись над головой, в узких, знакомых улицах. На Лубянской площади у костра грелись извозчики. Думали ли мы тогда, чем будет впоследствии это место, этот дом Страхового Общества?

Небо, да тайна были над нами в канун года, так шумно встреченного Года, разбившего наши жизни, залившего Москву кровью. А Кокошкина, с его надушенными усами, приведшего к кончине мученической.

III.

Первого февраля 1917 года старшая половина нашей роты вышла в прапорщики. Мы с завистью смотрели, как в колонную нашу залу натаскивали свежую обмундировку, офицерские шашки, фуражки, как вчерашние сотоварищи надевали более элегантные сапоги, получали великолепные револьверы-кольты. И неукоснительно, по движению стрелки произошла перемена: дружески с нами попрощавшись, обратившись в чистеньких, иногда даже изящных прапорщиков, внезапно исчезли. На их место, в тот же час появились «фараоны», вполне еще шляпы, такие же, как мы были два месяца назад, наполовину

в штатском, растерянные, робеющие. Нельзя сказать, чтобы мы их цукали. Но даже шляпы декабрьские все же смотрели на февральских несколько сверху вниз. Их так же, как и нас готовили к экзамену чести. Как «опытные» строевики, мы снисходительно давали им советы, учили, обдергивали топорщившиеся гимнастерки, заправляли пояса под хлястики шинелей. Вообще, чувствовали себя господами.

Лично я, впрочем, в эти недели потерпел жестокое поражение. Хорошим строевиком не был никогда, все-таки, на третьем месяце юнкерства, казалось бы, должен был кое-что смыслить в командовании. Курсовые офицеры знали, что я писатель. Некоторые относились ко мне с подчеркнутой любезностью. Эта любезность однажды меня и погубила. Обычно вечером роту расчитывали или фельдфебель (юнкер же), или портупей — юноши из самых ловких, залихватских, смелых. Поручик Н., желая оказать мне внимание, стоя перед фронтом роты, вдруг вызвал меня.

— Ну-ка, расчитайте роту!

Под светом неярких ламп шеренга юношей — многие среди них приятели, с которыми вместе разбирали и чистили винтовки, другие — робкие новые шляпы, еще неподтянутые и мешковатые. Расчет роты производился каждый вечер. Все команды как будто знакомы.

— Рота, смир-но!

Это-то я знал наверно. Фараоны с благоговейным ужасом подтянулись. Рота действительно затихла, обратилась в молодую, живую и неподвижную изгородь.

— На первый второй расчитайсь!

Тоже не плохо.

Как в заводной игрушке головы поворачивались слева направо, и эта волна быстро, легко бежала с одного фланга к другому. Теперь надо раздвинуть взводы, вздвоить ряды, сделать еще какие-то мелочи, повернуть направо и колонной двинуть вниз, в столовую.

Что со мной сделалось? Очень простая вещь. Я скомандовал так, точно бы сам находился в строю, а не перед строем. И все вышло наоборот, как в зеркале. Команда магическое слово. С ней не спорят и ее не обсуждают. Взводы покорно исполнили, что им было приказано: фараоны с окаменелыми лицами полезли друг на друга, плечо на плечо: вместо того, чтобы раздвинуть роту, образовав промежутки, я обратил ее в бессмысленную кашу. Сразу все пропало! Погибла стройная фаланга, исчез ритм ее и эластичность. «Не так... что вы делаете!» зашептали из строя приятели. Фараоны испуганно смотрели во все глаза: может, это они еще напутали... Офицер поправил меня. Но уже все было потеряно. Растерявшись, я и вновь неправильно скомандовал, опять вышла какая-то чепуха... Нет, под несчастной звездой все затеялось. Остальное Н. командовал уже сам.

* * *

Наступили морозы. Какие холода выпали на начало 1917-го года! Стекла нашей роты промерзли, «пар от дыханья волнами ходил», мучительно — умываться в шесть часов при такой стуже. И именно тут мы ходили в походы. В своем роде это и интересно. С раннего утра возимся с винтовками, одеваемся потеплее — башлыки, шерстяные варежки, прилаживаем сумки с патронами, веселой колонной выходим на Знаменку, рассыпаемся длинной шеренгой. Настоящий офицер, правильно командующий, строит нас в походную колонну, и мы трогаемся. То ли в Хамовники, то ли за Дорогомилово. Быстрая ходьба разогревает. А там из дымного тумана означится краснеющее над Москвой солнце, и покажется, что теплей, и московский снег, промерзший и певучий, скрипит под сотнями молодых ног. Похоже на прогулку, на какую-то игру. Прохожие оглядываются сочувственно. На каком-нибудь углу поджидают — кого жена, кого сестра, невеста. Машут платочками, смеются: эти приветы дорогих и близких всегда в нашем положении так радостны!

— Взвейтесь, соколы, орла-ами, полно горе горевать...

Наша рота певучая. Какие бы мы не были «извозчики», а поем, действительно, хорошо, и «жеребцы» нам завидуют. А под песню, даже на морозе, идти легче. По правде же говоря, длинный поход не так особенно и легок: трудно с винтовками. Идти нам нужно стройно и красиво («бравые александровцы»), а для этого штыки должны торчать стойком и весело позванивать иногда, задевая один за другой. Нельзя винтовку просто положить на плечо: и безобразно будет, и того гляди выколешь глаза кому-нибудь. Значит, вся тяжесть винтовки на ладони, в которую упирается ложе, а штык в небе. Рука устает. И очень устает. Правда, мы научились и ловчить: приноровишь петельку шинели, и обопрешь на нее ложе. А рукой держишь только для декорации.

За городом рассыпание в цепи, перебежки, атаки, все это уже настоящий спорт, игра. По легкомыслию ли, по могучей ли, таинственной жизненности, вся эта молодежь, и даже шляпы не первой молодости, как-то забывали на пустырях Хамовников, на искрящемся снегом поле пред видом Воробьевых гор, куполов Новодевичьего, *что это за игра, к чему*, собственно, готовимся. Перебегали, залегали, хохотали в снегу... А тайными путями Провидения в те самые дни нарастали события, долженствовавшие все перевернуть.

С какого-то дня, все же, морозы прекратились.

Походы стали еще легче. И теперь ходили мы больше за Дорогомилово, под Фили — знаменитые Фили 12-го года с Наполеоном, Кутузовым, победоносным нашим отступлением. Тут уже, в снегах ло-

щин, лесочков, деревушек, сразу чувствовалась весна, и нередко теперь, с резким переломом погоды, легкие, прозрачные облачка веялись по голубому небу, шоссе вдруг темнело, рыжело, грачи появились... Как весело и радостно забиваться гурьбою в деревенский трактир — с разрумяненными лицами, широко дышащей грудью: пить из пузатых чайников чай с калачами, закусывать немудрящей колбасой — игра и охота продолжались перед самыми «событиями».

* * *

«Скажи-ка, дядя, ве-едь не даром,
Москва спале-спаленная пожаром,
Французу отдана... Французу отдана».

Мы шли Арбатом, возвращаясь в училище. Роту вел красивый прапорщик Николай Сергеич.

— Ать-два, ать-два — по временам он обертывался и шагал спиной вперед, на легких, молодых ногах. В первом ряду четыре портупей-юнкера маршировали резво — высоко, точно держа винтовки — узкой лентой колыхалась дальше рота, звякали штыки, отблескивая солнцем. Оттепельный, светлый день! Ноги шлепали по шоколадному, с голубыми лужами снегу Арбата. На углу Серебряного Николай Сергеич отдал честь жене моей, поджидавшей наш проход, и шагавшей потом рядом с нами по тротуару... (приятели мои уже знали ее, и тоже кланялись из строя: вещь не совсем законная, но сходившая с рук).

На Арбатской площади мы немножко задержались: наперерез неслась пара в дышло. Снег и грязь летели из-под лошадей, кучер воздымался истуканом. Мелькнула полость, сани полицеймейстерские с высоченной спинкой, генерал в серой мерлушковой шапке, с золотым перекрещением на ней. Лицо его тоже пронеслось видением мгновенным... — но что-то было в нем особенное, совсем другое.

Не знаю, как, откуда к нам проникло э т о. Но лишь мы разделись придя в роту, из уст в уста побежало:

— В Петербурге восстание!

Сразу все изменилось. То есть, по видимости было прежнее, машина шла, но безумное волнение охватило всех сразу, и шляп, и портупеев, офицеров курсовых и батальонных, поваров и генералов. Выдержка скрывала еще новое, но не надолго...

В городе что-то происходило. Проходили по Знаменке кучки солдат, штатские, дамы, иногда нам махали с тротуаров, кричали. Мы выставили караул у входа. Нас никуда не выпускали.

Если не ошибаюсь, этот день еще прошел спокойно. Утром следующего дня меня вызвали с лекции вниз в приемную — необычайный

случай: с лекции и в неурочный час... Там ждал родственник, профессор медицинский, с зеленым от волнения лицом.

— В Петербурге вчера убит Юра...

Прост, и страшен был рассказ. Я его выслушал. Я его, кажется, и бессмысленно, сразу окоченев, выслушал. И потом все пошло призрачно. Сквозь туман прощался с родственником, вернулся на лекцию — на лекцию-то все-таки вернулся. Да немного из нее вынес.

— Что с вами? — шептали соседи.

Юра был мой племянник. Полковник что-то дочитывал. Я сидел, закрыв лицо руками. В ушах слова о статьях полевого устава. В темноте с радужными кругами — мальчик, на моих глазах родившийся, на моих глазах выросший — изящный, скромный рыцарь. Только что кончил Павловское училище. Вышел в Измайловский полк. 27 февраля был дежурным в полку — вот он в снаряжении, ремнях, с револьвером и шашкой, юношески стройный, с карими, веселыми, смешливыми глазами... Петя Ростов?

Когда чернь ворвалась во двор казарм, он о д и н загородил дорогу. На предложенье сдаться отвечал отказом... так бы и Петя поступил. И тотчас пал .

Началась «бескровная», «великая бескровная» — суд над всеми нами, с непонятною таинственностью начавший с самых юных и невинных: ими сердца наши разивший.

* * *

Юра пал как рыцарь, как военный. Самодержавный строй, его жизнью расплачивавшийся, сам валился стремительно — никто его не защищал. К вечеру войска двинулись в Москве на площадь перед Думою (кажется, присягать Временному Правительству). В нашем училище электрически пронеслось и установилось такое душенастроение: против большевиков и з а Временное Правительство. За самодержавие никого, или почти никого, из юнкеров и молодых офицеров. Старые — другое дело.

Часов в шесть была сделана, по приказу Мрозовского, командующего войсками округа, последняя попытка борьбы. Нас выстроили в ротах, роздали винтовки, боевые патроны. Стало известно, что поведут «усмирять». Молнией пронеслось:

— В народ стрелять не будем!

Те часы в памяти остались огненными. В голове вертелась гибель и кровь Юры, предстоящая кровь, неизвестность, мучительная тоска. невозможность стрелять и возможность быть сзади расстрелянным из пулеметов за отказ повиноваться, ненависть к убийцам в Петербурге, и нежелание проливать кровь не-убийц (как нам тогда казалось).

Тот самый офицер, что подвел меня своею любезностью в мирное (казавшееся столь далеким!) время, в боевом снаряжении вышел пе-

ред фронтом нашей роты. Рота уже не стояла так «смирно», как тогда. Под светом ламп штыки нервно покачивались у примкнутых к плечам винтовок. Он объяснил, куда идем.

Что-то задышало, заволновалось, начались «шевеления»... глухие слова, сначала неясные. Потом кто-то крикнул:

— Не будем стрелять!

— Юнкер, вы в строю...

— Мы не будем стрелять, господин поручик, — закричали с разных сторон.

Офицер еще сильнее побледнел.

— А вы знаете, что Москва на военном положении, и что бывает за ослушание...

Но уж не мог сопротивляться он той буре, что неслась одновременно, электрически, по всем ротам. Строй потерялся. Штыки звякали, все кругом говорили. Взволнованные, раскрасневшиеся лица...

— Послать узнать в другие роты...

В величайшем волнении сам офицер ушел. Мы остались стоять. Что-то решалось, колебалось в старых стенах училища, с портретами государей, полководцев на стенах... Какие-то стены падали.

Через час нам велели разоблачиться. Никуда мы не вышли.

В таком настроении наши двенадцать рот не выведешь.

IV.

...На улицу нас так и не пустили, чтобы не подвергать опасностям. По-прежнему в передней стоял караул. На противоположном тротуаре толклись любопытные, студенты, дамы. Махали нам, как бы нас звали. Лекции и занятия все же шли. Вернувшись с ротного учения встретил я в колонной зале юнкера Гущина. Веселый юнкер, со штыком у пояса, на ходу крикнул:

— Сейчас на улицу вашей супруге салютовали!

— Как так?

— А вон, взгляните...

У окна толпились юнкера. Махали носовыми платками, один кричал что-то в форточку.

— Она спрашивала, — объяснил Гущин, — живы ли вы, и как здоровье. Ну, вот ей и ответили...

Особенную известность жена моя получила в эти дни за то, что первая дала знать в училище об аресте командующего войсками (ген. Мрозовского). В приемную к ней меня не пустили. Но в бутербродах ухитрилась она передать мне записку о Мрозовском — это произвело

у нас огромнейшее впечатление. В знак благодарности, юнкера вывешивали ей теперь бюллетени о моем состоянии.

Подойдя, увидел я на оконном стекле, приклеенный, огромный лист бумаги. На нем усердно, крупно было выведено:

— Боря здоров.

* * *

Не долго продолжался наш нейтралитет. Тот самый ветер, что перебуровил всю Россию, проник и сюда. Само начальство наше перешло под власть Временного Правительства.

Все помнят эти дни — ощущение стихии надвигающейся, все сметающей. Мне же особенно врезался один вечер в училище, первый после падения самодержавия. Обычно, при расчете роты, шеренга «извозчиков» пела «Боже, Царя храни!» Офицеры и фельдфебеля держали под козырек, все мы тянулись во фронт. Это считалось минутой торжественной.

Наступила она и в тот день. Когда надо было взять дружно, хором — раздалось всего два-три неуверенных голоса, по привычке.

— Отставить, — сказал высокий, худой ротный наш, с сединою, при Георгии. Все замолчали. Странная, невеселая минута! Одиноко, мы стояли. Сумерки наступали. Где-то вдали играла музыка. Екатерина, во весь рост, смотрела с овального портрета в глубине залы. Александр, насупротив, выставлял белые лосины, зачесанные височки. Николай скакал на коне. Гимна не пели.

Высокий ротный, с сединой и плешью, отирал платочком слезы.

* * *

А на другой день юнкера весело выбегали на мокрую, в мартовском солнце улицу, месили сырой снег, прыгали через лужи — бежали в отпуск. И старый ротный, старый гимн, все это позади. Улицы бурлят народом, еще радостным и оживленным. Разочарований еще нет. Медовый месяц. Что же говорить, большинство наших нацепили красные банты: Временное Правительство, как-никак, из революции ведь родилось. И все близкие — жены, сестры, матери — приблизительно так чувствовали.

Но дисциплину мы сохраняли. Помню, встретил я на Пречистенском старичка-генерала, худенького, с красными лампасами, в кованых калошах. Он старательно обходил лужу на тротуаре. Бравый александровец, хоть и с красным бантом, стал, разумеется, перед ним во фронт, да так ловко, что треть лужи выплеснул на генералово пальто. Старичок горестно махнул рукой:

— Эх, юнкер, юнкер...

* * *

Новая жизнь началась и у нас, в старом, вековом дворце на Знаменке. Новая жизнь, с революцией пришедшая, состояла в том, что прежний, грозно-крепкий строй вдруг обратился в некий призрак. О, мы вели себя благопристойно, с внешней стороны машина будто бы и двигалась. Но в самом этом движении появилась некая фальшь. Не было ощущения власти, неотвратимой силы, прежде смалывавшей... надо просто признать: лично, для каждого, стало в училище легче. (И если так произошло с нами, то что же стало с солдатами! Как же им было не хотеть революции!).

И начальство переменилось. Как не иным может стать начальство, когда сразу же роты выбрали свои комитеты, и уполномоченные эти в любое время могли докладывать старику-генералу, начальнику училища, о своих нуждах. Царство шляп начиналось. О, если бы я хотел выплыть, время подошло. Но и без всякого моего желания, только за то, что я писатель и шляпа, выбрали меня и в ротный комитет и потом в комитет семи от всего училища — мы вошли в Совет Солдатских и Офицерских депутатов Москвы. Много интересней, разумеется, было заседать, вместо лекций, в какой-нибудь для нас отведенной аудитории, или ехать в Политехнический музей на общее собрание Совета. Или идти депутацией к нашему генералу, просить о каких-нибудь послаблениях (о «подтягивании» никогда мы не просили) — и при всей внешней почтительности нашей все же генерал смущался... и никак не мог взять тона: что мы, подчиненные его, или он нам в чем-то уже подчинен? Мы старались, разумеется, быть мягче и приличнее, но за спиной нашей «ловчилы» уже действовали: старый, тяжеловесный и суровый строй военный отступал.

По-прежнему ходили мы в походы, были даже на параде на Красной площади, по-прежнему учились стрельбе в тире и разбирали проклятый пулемет (понять устройство коего невозможно). Но все это было наполовину игра, «нарочно».

* * *

Важное, или важным лишь кажущееся, надвигалось так же неотвратимо, как в свое время минута погружения в училище.

...Последние дни нашей жизни на Знаменке были легки, несколько и ленивы, занятны. Помню московскую весну, свет, лужи, огромный офицерский магазин на Воздвиженке, куда ходили мы примерять новенькие френчи, фуражки с офицерской кокардой, шинели. А потом все это волокли к нам в роту. Лекции уже окончились, мы валялись по койкам, вновь мерили, охорашивались, сравнивали револьверы,

пробовали острия шашек — возраст наш сразу понижался до полуребяческого, несмотря ни на какие погоны. В эти же дни шло медленное, но тоже непрерывное возвращение к жизни обычной: точно бы просыпался после четырехмесячного сна с удивительными сновидениями (команды, марши, трубы, походы...). В эти светлые весенние дни, лежа на своей койке, опять я читал, как обычный человек и истинная шляпа, нечто глубоко-невоенное, совершенно здесь неподходящее, что, однако, уводило в некий иной, романтический мир: «Воображаемые портреты» Уольтера Патера (в переводе Павла Муратова) — и светлый опал с нежным сиреневым оттенком дней московских, дней весенних, сливался с обликами Ватто, пейзажами дальнего Оксерра. Эта смесь поэзии и странной жизни вокруг и тогда волновала и теперь о ней вспоминаешь с удивленным чувством.

1-го апреля обратились мы в нарядных прапорщиков армии, дни которой и вообще-то были сочтены. Обнимались, прощались весело и грустно. Выходили все в разные полки. Будущее было загадочно и неясно — судьба наша недостоверна. И действительно, веером разнесло нас, кого куда. Из всех полутораста своих сотоварищей по роте лишь одного довелось встретить мне за пятнадцать лет.

...На моих новеньких погонах стояла цифра 192 — запасный пехотный полк Московского гарнизона.

Офицеры

(1917)

I.

...Казармы — вблизи Сухаревки. Огромный двор, трехэтажные корпуса, солдаты, слоняющиеся без толку, — кое-где вялый подпоручик строит взвод, пытается заняться учением. Офицеры, изредка пересекающие двор, — больше в канцелярию или в столовую. Ненужное, скучное, бестолковое... пока еще мирное, но уже в себе искры таящее. Такой же сумбур и снаружи, вокруг знаменитой башни Сухаревской, пристанища чернокнижника Брюса. Базар, суета, солдаты, квас, палатки, семечки.

Вернувшись из деревни, надеваю парадную форму, со всеми портупеями и крестообразными ремнями, чищусь, подтягиваюсь, отправляюсь представляться полковому командиру.

Часам к десяти собираемся мы, пять-шесть прапорщиков, в небольшой комнате, светлой, носящей еще следы старой, налаженной жизни — приемная полкового командира. Скоро вышел и он. Мы вытянулись, поочередно представились... Вспоминая лысого старичка с большим лбом, вижу его как бы на сцене: не то из «Трех сестер», не то из другой чеховской вещи. Во всяком случае, это чеховский человек. Он радостно, как родным и близким, пожимал нам руки. Кажется, это был генерал-майор, с седыми бачками, в сюртуке с эполетами, и с красными лампасами (теперь иногда таких показывают в русских фильмах).

— Александровского училища? Так, так-с, прекрасно. Отличное заведение... Надеюсь, будем в согласии работать. Времена трудные, господа, вы сами понимаете, требующие особенного такта, осмотрительности...

Из окна виден двор. Солдаты шляются по нем, иногда в обнимку, другие висят на подоконниках, курят, плюют, лущат семечки. Такой

же двор, вероятно, был и в Измайловском полку, когда туда ворвались (тоже лущившие семечки) и убили Юру. Мы многое понимаем и без старенького генерала.

Он отпустил нас с лучшими пожеланиями. Понимаю его. В нашем облике, тоне, почтительности, чувствовал уголок своего. Мы не обидим. Не нагрубим — тонкая пленочка, еще отделяющая его от семечек.

Возвращаясь домой, остановился я на Сухаревке, ждал трамвая. В сутолоке базара случайно взглянул на лоток, где лежали разные мелкие вещи: гребни, шкатулки, бусы. Среди них небольшая деревянная икона, без оклада, старинного письма. В середине Ангел-хранитель, в белом с золотом, с округлым, чуть припухлым ликом рублевского типа. Слева Николай Мирликийский, справа св. Татиана. (Редкая по сюжету композиция 17 века).

Татьяна, это Пушкин, Москва. Имя моей матери, моей сестры, с детства как бы священное. На перекрестке жизни, в нищете и убожестве сухаревского рынка предстала мне св. Великомученица.

...Через несколько минут я вез икону, тщательно завернутую, к себе на Долгоруковскую. И она вошла в дом мой в первые месяцы страстей России.

* * *

Так началась в Москве офицерская моя жизнь. На юнкерскую вовсе непохожая. Там напряженность, дисциплина, труд, здесь распущенность и грустная ненужность. Война еще гремела. На Западе принимала даже характер апокалиптический. У нас вырождалась. Мы уже не могли воевать, мы — толпа. Это чувствовалось и в тылу. В Москве тоже делали вид, что живут, обучают солдат и к чему-то готовятся. В действительности же...

Я поселился в особняке у друзей. Старинный купеческий дом, фасадом на Сущевскую, двором на Долгоруковскую. У меня отличная комната. Для работы огромный кабинет, рядом пустая зала, по которой взад-вперед можно ходить без устали. Блистающий паркет, фанера на стенах, лукутинские табакерки и коробки, жара, солнце и пыльная улица за окном с церковью Казанской Божией Матери (где некогда я венчался).

Служба... Состояла она в том, что по утрам надо ехать в казармы. Там решительно нечего делать, при всем желании. Бездельничали и солдаты, и офицеры. Смысл поездок этих только тот, что в полдень в офицерском собрании, там же в казармах мы и завтракали. А после завтрака Сухаревка, трамвай, и к себе на Сущевскую.

Но одних суток все-таки и мне не забыть: меня назначили дежурным по полку. Опять снаряжение, ремни, портупеи, теперь и заряжен-

ный револьвер. Весь полк на твоей ответственности... А уж какой это теперь полк!

Около полудня спустился я с какой-то лестницы во двор казарм. К великому моему удивлению, там стоял хорошо построенный взвод, со старым фельдфебелем. К моему окончательному изумлению, при моем появлении взвод взял на-караул — винтовки тяжело, но правильно взлетели, штыки блеснули — военный театр первого сорта. И на приветствие мое караул ответил совсем по старорежимному:

— Здравия желаем, господин прапорщик!

Начался «день в караульном помещении»...

Что я там делал? В своем вооружении («до зубов»), сидел в нечистой комнате с клеенчатым диваном, у столика. Подписывал какие-то бумажки, пил чай. Бессмысленно смотрел на приходивших, спрашивавших, можно ли послать ефрейтора туда-то, делать то-то, разрешить отпуск тому-то, сделать то-то на кухне. Если бы был властолюбив, вероятно, все запрещал бы. Но я взял иную линию: все можно. Если угодно, это линия отчаяния: ни в одном распоряжении своем я не мог уловить смысла. Что надо делать на кухне? Как поступить с ефрейтором Ничипоренко?

Ночью «камера» моя обратилась просто в полицейский участок. Беспрерывно ловили на Сухаревке дезертиров, жуликов, воров, — перед столиком моим проходили типы с чужими сапогами под мышкой, кое-кто уже с синяками, какие-то мальчишки, солдаты с фантастическими документами... Царь Соломон, разреши, кого куда? В преддверие Ада, или в нижние круги?

Меня выручил тот же фельдфебель, что утром так отлично отсалютовал. Я его взял на ночь «техническим экспертом».

— Этого сукина сына, ваше благородие, — шептал эксперт, — прямо на гауптвахту.

— У того с заячьей губой документ отберем.

Вводят лохматую «косую сажень» с подбитым глазом, растерзанного, в солдатской фуражке: стащил чуть ли не тюфяк.

— Энтого, ваше благородие, прикажите в комиссариат...

Часам к трем ночи в окне бледно-зеленеет. Выхожу на двор, курю. Нежное предутреннее небо, тающий, знакомый узор милых звезд, таинственные дуновения ночные. Сладок дым папиросы на чистом воздухе, майскою ночью! Неужели я писал когда-то книги? Неужели и сейчас в столе на Сущевской лежит начатая рукопись «Голубая звезда»?

Опять ведут дезертира. Этот, пожалуй, украл всю полковую кухню? Папироса докурена. Начинается суд. Клеенчатый диван, спертый воздух, нечистота... Нет, всю жизнь прослужил я в полицейском участке.

* * *

Все-таки, некоторые полки уходили на фронт. Как, кому удавалось уговаривать на это странное предприятие? Но сами мы с женой провожали 193-й пехотный на Днестр. С ним уезжал пасынок мой, прапорщик Алеша С., (впоследствии большевиками расстрелянный).

...Знойный, блестящий день, платформа где-то у Ходынки, товарный поезд с вагоном второго класса для офицеров. Толпа солдат, с гиканьем, песнями валит в вагоны. Круглое, в пенсне, лицо Алеши, нервно смеющегося, бегающего по платформе, на ходу целующего руки матери.

— Ты, мама, не волнуйся... Какая теперь война, просто сидение в окопах...

Ни одна мама мира не утешится такими утешеньями — да станут ли ее и спрашивать? Идет стихия, буря, судьбы российские решаются — приходится тащить таинственные жребии. Мать дала ему на войну иконку — Николая Чудотворца — да по-женски плакала, когда уходил поезд, весь в серых шинелях... и оркестр играл:

«По улицам ходила
Большая крокодила...»

О, знаменитая музыка революции Блоку мерещившаяся — Большая крокодила...

Юношеское лицо в пенсне, конечно, в слезах, виднелось из окна вагона. Белый платочек, да ветер, да солнце. Скоро и мой черед.

II.

...В конце мая 192-й пехотный полк выступил в лагерь. Май стоял чудесный. Солнце, тепло, сады московские залились зеленью... Коекак выстроили полк, даже музыка появилась, песенники. Офицеры в снаряжении — через всю Москву повели мы своих серых героев на зеленую дачу. Не так много в строю их и было: остальные предпочитали слоняться по городу, вечерами флиртовать в Александровском саду. Да и те, кто шли, делали нам великое одолжение: в сущности, с полудороги (если бы надоело), могли они разбежаться вполне безнаказанно: нам бы оставалось лишь доказывать им, что в лагере лучше, чем в казармах.

Впрочем, и действительно лучше. Ходынский лагерь очень приятен. Слева Петровский парк, весь свежий и густой, крепкозеленый. Прямо — Москва с золотым куполом Христа Спасителя, знаменитое

поле, некогда трагическое, а теперь мирное, поросшее травкой — тропинки по нем протоптаны солдатами. Лагерь окопан канавой — это опушка леса, и все палатки под деревьями. Похоже на дачное место для военных. Роты размещаются по участкам. Приезжают кухни, обозы, начинается извечное военное хозяйство.

Нам, троим младшим офицерам роты, отвели небольшой домик. Мы там устраиваемся «приблизительно»: лишь толстый немолодой прапорщик латвийского происхождения будет здесь ночевать: а мы каждый вечер домой.

Ротный Л. у нас милейший. По профессии певец, с недурным баритоном и левых устремлений — эсер. Но не шляпа. Высокий и стройный, веселый, отлично командует, верит в республику и победу соединенных армий. Верит, что нравственным влиянием можно поддержать дисциплину и в наше время.

— Работать надо, господа, дело делать, а не опускать носы. Только этим мы и сможем одолеть анархию и большевизм. Вот, вы, например, (обращаясь ко мне): вы писатель, надо завести собеседования с солдатами, объяснять им необходимость войны до победного конца, чтобы они, знаете ли, поняли ту высокую цель, из-за которой мы боремся... подумать только: германский империализм! Ну, да что мне вас учить, сами найдете нужные слова.

Грех мой состоял в том, что тогда я писал для одного издательства брошюру о необходимости войны «до победного конца». Л. знал об этом. И считал меня самым подходящим для таких бесед.

Мы их устроили. Тут же, под березами и осинками лагеря. Никак это не походило на митинги, скорее на семинары. О войне говорили, но мало: тема быстро исчерпалась. Разговор же шел, и оживленно — о деревне, жизни, о литературе. Кое-что я им читал: Толстого, Гаршина. Не знаю, имело ли это смысл и достигало ли какой-нибудь цели. Но в памяти остались некоторые солнечные утра на Ходынке, десятка два-три молодых солдат, сидящих и полулежащих на траве, чтения наши и разговоры. Некоторые из солдат глядели со вниманием и любопытством. Некоторые, казалось мне, даже с сочувствием. Трудно определить, каким кажешься. Приблизительно так представляю себе их впечатления:

— Разумеется дело — барин, и в свою сторону гнет. Книжки читал, рассказывает по-печатному.

Вмешивается пожилой ефрейтор.

— Теперь прапорщик пошел лядащий. Одна видимость. Бывало как Михаил Михайлыч выскочит, да как гаркнет: вы что тут, сукины дети, лежебоки проклаждаетесь — даже в середке похолодеет. Это были военные люди...

— Теперь, дядя, другие времена. Слабода!

Ефрейтор крутит цыгарку.

— А коли слабода, так на кой хрен мы тут? Война-война, до победного конца... Я, братцы мои, порядки знаю. Перемышль брал, в руку ранен. Да. А с такими кобелями как вы какое мы войско? Нас немецкие бабы в плен возьмут.

Пристает рыжий большевик, с веснушчатым лицом.

— Вы, товарищ, несознательный... Это, конечно, прапорщик, как он помещичий сын, то о войне и рассуждает по-буржуйски. А нас, ежели на фронт пошлют, мы тотчас братание в окопах устроим...

— Гаврюха, ты куда мою рубаху повесил?

— И даже ничего ее не трогал...

— Вот сукин кот! А мне вечером в город.

Ефрейторская цыгарка едко курится. По Ходынке, в летнем зное, вяло бредут несколько солдат. Здесь, в тени, и то жарковато.

— До победного конца! Какие теперь ахвицеры!

* * *

Я знал, что еще в марте были предприняты шаги для перевода моего в артиллерию. Куда-то жена ездила со знаменитым москвичом, что-то налаживала, хлопотала. Но шли месяцы, не было ни ответа ни привета. Войска же понемногу шли на фронт. Наш черед приближался.

Ротный Л. вызвал нас троих в канцелярию.

— Господа, завтра смотр. Приезжает командующий войсками, все как полагается. Прошу показать роту нашу образцово... и вообще — он улыбнулся: — не ночующим в лагере — не опоздать! Да, трудное время (он напустил на свое худощавое, бритое лицо серьезное выражение): но упорство, и культурная, демократическая работа в армии, преодолеют анархию. Твердо верю! Надеюсь на вас, господа. Надеюсь.

Мы поклонились. Через четверть часа ротный плескался в умывальнике, приятным баритоном напевал:

— О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею ис-ку-пи-ить, верну я че-есть свою и славу! И Ру-усь от недру-гов спа-су!

Может быть, и взаправду, командуя своей ротой, рассчитывал веселый Л. спасти Россию, как, может быть, мечтал о том же и Верховский, молодой генерал, тоже из эсеров, командующий войсками округа.

«Кто штык точил ворча сердито»... — нам бородинского сражения не предстояло, и штыка я не точил, все-таки шашку с вечера осмотрел — главное: легко ли вынимается из ножен. И опять, не для того, чтобы рубить головы, а чтобы салютовать авантюристу Верховскому.

Встал на другой день пораньше, приоделся, и в седьмом часу ждал на перекрестке Бутырок трамвая к «Трухмальным». Все прошло правильно. Приехал загодя — видел свежий, зеленый утренний лагерь (по правде сказать — впервые так рано). Л. был нервен, оживлен. Да-

же кого-то распекал, с театральными переливами баритона. Солдаты тоже подтягивались. Смотр — это большое развлечение.

Что, после Толстого, скажешь об этом военном зрелище? Откуда взять Кутузовых, Багратионов, Ростовых, Болконских? И «серые герои» наши — не павлоградцы и не апшеронцы: все-таки, сколько могли, мы выстроили их, по опушке вдоль лагеря. Как водится, долго стояли «вольно», а потом увидали группу всадников, на рысях шедших к нам по Ходынке (Наполеон! Александр!). До Александра далеко, всего-навсего Верховский со штабом. Заиграла музыка, полк взял на караул. Наш лысый старичок, в мундире, орденах, трепеща рапортовал командующему. Бедный, трепетал только он один. Солдаты равнодушно зевали. (Замечательно, что еще удосужились взять на караул: вероятно, потому, что командующий тоже делил землю).

Верховский, фатоватый, театральный, явно кокетничавший перед героями, покачивался на седле высокой, худой кобылы. «Я человек новый, энергический, я этих протухших генералов подтяну...»

С нашим генералом был небрежен, просто груб. Ехал вдоль фронта рысцой, а полковой командир почти бежал за ним, по жаре, пыли, бросал короткие, надменные замечания. (И верхом-то ехал, только чтобы унизить старика, обливавшегося потом. Отлично мог пройтись пешком, да и лучше разглядел бы солдат). Кончилось же все митингом, как полагается. Для такого случая соблаговолил Верховский даже слезть с лошади. Взобрался на какой-то стол, или пустую бочку и начал ораторствовать.

Апшеронцы и павлоградцы побросали винтовки, сбились в кучу вокруг «товарища командующего». Резким, неприятным голосом выкликал он знакомые шаблоны.

Вечером большевики устроили свой митинг. Там уж не стеснялись.

* *
*

Итак, полк наш считается готовым. Не сегодня завтра чудо-богатыри с «железными» офицерами выступят... мокренько останется от австрийцев при одном нашем приближении.

...Сереньким июньским утром подали мне на Сущевской пакет-распоряжение штаба округа. Прапорщик 192-го полка такой-то переводится в Первую Запасную Артиллерийскую бригаду.

С этой бумагой поехал я в полк. Дождичек покрапал на Ходынке, завешивая дали легкой сеткой. Березы вкусно пахли. Солдаты попрятались. Вблизи ротной канцелярии попался Л. Увидев меня, улыбнулся.

— Вас отчислили. В артиллерию.

— Вот, только что получил назначение.

— Что же, поздравляю. А знаете, наш полк завтра выступает. Вам повезло.

И протянул приказ: действительно, на завтра 192-му уходить на позиции.

«Повезло!» Да, конечно. Это судьба, называется. В книге ее было записано, что такому-то прапорщику-шляпе, не воевать. Так и вышло. И потому за него хлопотали, и месяцы пролежало все без движения, в нужную же минуту таинственная рука протянулась...

— Не ехать.

Все-таки было смутное чувство. Точно бы я все подстроил. Пошел к себе в домик, где стояли походные наши постели, прощаться с латышом и К. Они меня тоже поздравляли. И тоже, как Л., не совсем искренно.

За походной постелью, памятью Александровского училища, собирался приехать на извозчике... Да пока собирался, и полк ушел. А постель, разумеется, стащили.

III.

...Некогда слушал я лекции в Горном Институте, теперь это пригодилось. В прошлом студент высшей технической школы: явно, быть ему в артиллерии. Пусть от всей горной мудрости осталось только то, что кристаллографию понять нельзя. Все-таки, для военного начальства я бывший техник. Значит — первая запасная артиллерийская бригада.

Ее казармы недалеко от Ходынки. Но все здесь иное. В лагере зелень, природа, некоторая улыбка. Казармы — как бы военный поселок. Фабрики и казармы — ярчайшие облики некрасоты мира (впрочем еще: больницы, тюрьмы).

Если бы наши казармы обнести стеной, была бы типическая тюрьма — красные корпуса с запасными окнами, с грязью на дворе, ленивым движением фургонов, подвод, солдат с верховыми лошадьми в поводу. Но в тюрьме должен быть порядок. Мы же — в священно-освободительной анархии. Наша жизнь прямое продолжение Сухаревки.

Собираемся в десятом часу в офицерской комнате. Здороваемся. Пьем чай. (Некие солдаты, денщикообразного состояния, еще подают его). Читаем газеты. Мухи жужжат на грязных окнах, ползают по грязной скатерти. Если отворить дверь в коридор, там шмыгают писаря с разными записками, бумажками для канцелярий.

— Прапорщик, читали, что в Петербурге делается?

— Да, большевички работают.

— Погодите, скоро и у нас начнется.

Но у нас, собственно, начинался только в полдень завтрак: разумнейшая часть программы. Завтрак тоже казарменный, скучный, но питательный. Белобрысые типы подают тарелки щей, вареную говядину... Клеенка в хлебных крошках, в кругообразных подтеках щей под тарелками.

— Поручик, передайте, пожалуйста, горчицу.

— Я бы этих большевицких болтунов давно перевешал.

Толстый, неповоротливый прапорщик настроен грозно. Успел ли бы он?.. Похоже, что его предупредили бы в этом намерении.

* * *

Приятно-детская сторона новой жизни: форма. Она элегантней. Вместо тяжелой шашки кортик. На ногах краги. Главное же шпоры!.. Летний московский вечер. Выходишь из квартиры на Сущевской, идешь по Долгоруковской в Литературный Кружок. В летней полумгле зеркальные окна, тихая библиотека, веранда, вострякovский сад, столиками уставленный, зелень. Сиренево-зеленоватая ночь спускающаяся. На веранде картежники. Приятен свет свечей под колпачками! В саду фонарики — похоже на какой-то летний праздник. Боскеты (фантастические в ночном свете), листья, мелкий гравий, олеандры в кадках.

Знакомых в Москве много. Шпоры позвякивают. Голубые звезды на небе. Холодная бутылка белого вина. Как далеко это от Александровского училища!

* * *

Все-таки, начинается и вновь учение. Для пяти-шести прапорщиков из пехоты устроены занятия. Три раза в неделю поручик Н. водит к орудиям — в поле, за казармы. Пушки глядят на Ходынку. Из Петровского парка тянет свежестью леса, полей. Н. объясняет устройство затвора, приемы наводки. При всей своей шляпности слушаю с интересом. Нечто добропорядочное, прочное, в стройной, слегка полной — несмотря на молодость — фигуре Н. Бедного нет уже в живых. И его и двух его братьев, должно быть, таких же прямых и славных юношей, через несколько месяцев расстреляли большевики.

Обучали нас и верховой езде. Я с детства хорошо ездил — теперь считал эту науку скучноватой. Все-таки, для порядка приходилось делать круги рысью на нескладной артиллерийской лошади.

С верховою ездою связано и решающее событие «военной» моей жизни.

Вот о нем воображаемая запись:

12 июля. В понедельник назначен под Архангельское с солдатами и лошадьми батареи в ночное. Когда-то, ребенком, занимался этим. Что же, пусть и взрослым... Во всяком случае, прогулка верхом за двенадцать верст, ночь в палатке, бивуак, природа. Ничего дурного не вижу. Получше одеться. Взять книгу. Что именно? Марка Аврелия, «Размышления». Всегда любил.

15 июля. Оказалось даже лучше, чем предполагал. В три явился в бригаду — в шинели, снаряжении, на этот раз даже с шашкой. Вот теперь со шпорами надо осторожней — с непривычки можно раздражать ими зря лошадь. Ординарец привел вороную высокую кобылу. Рысь у нее редкая, грубоватая, но неплохая. Тронули сразу полным ходом. Хорошие места. Подмосковные. Леса, долины, извивы Москвареки. Не зря баре наши любили этот край. Их следы остались: Архангельское, Ильинское, дальше, к Звенигороду имение графа Гудовича. Тут и дороги хорошие, и деревни зажиточные. Солнце, приятный вечер. Наливающиеся овсы, кое-где рожь убирают уже — что может быть лучше крестцов ее в поле, возов поскрипывающих, загорелых девок и баб, под вечерним солнцем, при небе стеклянно-голубом над синим лесом?

Жарковато одет: под шинель уговорили надеть кожаную куртку — ночи, мол, холодны. Очень распарился.

...Через час приехали. Все прошло благополучно. Шпоры не мешали (не забыть, с детства, покойного отца наставления в езде: «Береги носки! Опять носки врозь!»). Да, тут уж настоящий бивуак, не Ходынка. Сосновый лес, в нем палатки, костер, кухня, фуры... Сквозь деревья видна луговина, там пасутся стреноженные лошади. Верно, где-нибудь и в Галиции так же, только впереди окопы. У меня отдельная палатка — маленькая, но приятная. Постель походная, все как следует. В чем же моя служба? Кажется в том, чтобы просто присутствовать. «Стеснять собою солдат». Верный ли это расчет? Бог знает. Он основан на том, что у пожилых ефрейторов, фельдфебелей сохранилось еще некоторое отношение к погонам.

— Все-таки, неловко при прапорщике...

Мог ли я что-нибудь приказать? Настоять, заставить сделать? Forse che si, forse che no. К счастью, ничего и не приходилось приказывать. Солдаты приглядывали за лошадьми, подбрасывали в огонь еловых шишек, кипятили воду в котелке. Когда солнце закраснело у горизонта, спели хором. У меня с ними такие отношения: пассажиры одного и того же поезда. Друг с другом довольно любезны — и безразличны. В одном вагоне проведем ночь, утром, в Саратове, выйдем на станцию, чтобы никогда больше не встретиться.

Пока было светло, читал, сидя на пенечке, своего Марка Аврелия. «Судьба загадочна, слава недостоверна»... Писано это тоже в палатке, в какой-нибудь дикой Паннонии, Дакии. И как волнуют слова, две

тысячи лет назад нацарапанные холодным зимним вечером, при свете факела... Слово, великое наше слово!

На закате вышел на луг. Туман по нем зароился. Красная заря гасла над Архангельским. Недалеко Барвиха, где случалось бывать ранее.

Долго сидел на поваленном дереве. Туман все более стелился. Лошади в нем позвякивали бубенцами. Так вот будешь скоро сидеть где-нибудь на Днестре и ждать смерти. «Судьба загадочна»... И одиноко человеку перед вечными звездами, в неверных испарениях родной земли. Думаешь о близких и любимых, одиночество еще острее.

...Все что-то холодно. Слишком распарился в дороге, вот и прохватывает. И в палатке лег, укрылся, а согреться не могу. Удивительный воздух! Лес, хвоя, такой чистейший смоляной настой... Волнение — поэтическое, радостно-грустное, мешает спать. Раза два встаю, в шинели выхожу из палатки. Солдаты спят. Костер догорает. Теперь, с пофыркиванием лошадей в темноте, за кругом света, озаряющего лишь недалекие деревья, да фургон, да храпящих — весь бивуак наш, под черным шатром сосен, похож и на привал разбойников. Только не хватает землянки Дубровского.

Сквозь просвет дерев в небе звезды — милые мои...

20 июля. Нынче утро провели у орудия. Н. разбирал затвор. Нездоровится. Кашляю. Порядочный ветер. Кашель мешает сосредоточиться.

23 июля. Кашляю, голова болит.

25 июля. Приехала жена из деревни. Вид у меня мерзейший. Кашляю и хриплю так, точно в груди плохой граммофон.

26 июля. Вот она и поэзия, и лес, и Марк Аврелий. Зря надел кожаную куртку, только распарился и ночью промерз. Кашляю уже кровью. Доктор выслушал — воспаление легких, гриппозное и сильнейшее, запущенное. Лежу весь в компрессе. Противно, но тепло. Близкие, разумеется, в ужасе. Особенно кровь их путает. Но врач объяснил: при воспалении легких всегда так. Полагается.

* *
*

Вспоминая свою военную «деятельность», не могу не улыбнуться. Но и задумываюсь. Ничто в мире зря не делается. Все имеет смысл. Страдания, несчастия, смерти только кажутся необъяснимыми. Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как небесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения — всегда научают. Бессмысленного нет.

Тот странный, «военный» год мой (при всей незначительности его, объективно) имеет тоже свою философию. Вот почему я не только на

него улыбаюсь: он некое звено в моей судьбе. «Хочешь делить с другими бремя войны, опасностей? Хочешь идти в самое пекло, пехотным офицером на фронт? Что же, пробуй».

Военная жизнь, ее суровость, дисциплина настоящей армии были показаны, как показано и разложение. Но как только подходило к действию, в котором мог бы принять участие, невидимая рука отводила.

Я не попал на фронт — ни пехотинцем, ни артиллеристом — хоть именно мои товарищи в бригаде скоро и уехали туда. «Случайная» болезнь, едва не разыгравшаяся в бурный туберкулез, вывела вовремя из строя. В сентябре бригадный врач дал мне шестинедельный отпуск. В последние его дни, когда я жил в деревне, разразилось октябрьское восстание. Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых.

— Нет, не нужно. Нет, не то.

И опять та же рука, что показала военную жизнь, как бы дав ощутить (но издали, со стороны) иное, чего как раз и не хватало в прежнем опыте — повела далее: не путем воина.

IV.

Москва 20-21 гг.

STUDIO ITALIANO

Убогий быт Москвы, разобранные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус («Михаил Михайлыч, верный мой примус!»), «пшенка» без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко.

Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том „Canzoniere" в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо, где висят красные шубы для извозчиков и бабы торгуют всяким добром, а Джованни делле Банде Нере сидит на своем монументе и смотрит, сколько сольди взяла с меня торговка. Думал ли я, покупая, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции же, в это же время мы по-богемски жили в „Corona d'Italia", пили кианти и рассуждали о Ботичелли?

Да, но тогда времена были в некоем смысле младенческие.

...А вот наше Studio italiano. В Лавке Писателей вывешивается плакат: «Цикл Рафаэля». «Венеция». «Данте». Председатель этого вольного учреждения — П. Муратов. Члены — Грифцов, я, Дживелегов, Осоргин, и др. И мы читаем в аудитории на углу Мерзляковского и Поварской, там были Высшие Женские Курсы. В дантовском цикле у нас и «дантовский пейзаж», и Беатриче, и политика, и дантова символика. Мне назначили лекцию, открывавшую цикл.

На зимних курсах бывало в нашей аудитории холодно! Дамы и барышни, да и другие слушатели сидели в шубах. Вряд ли когда-либо, где-либо кроме России, при такой обстановке шли чтения.

Но сейчас апрель, влажный весенний вечер. Как и в дни мира, арбатское небо, к закату, к Дорогомилову затянуто нежно-розовыми пеленами. Можно из Кривоарбатского идти в Мерзляковский даже не сплошь по Арбату, а в Серебряном повернуть у церкви направо, и

пройдешь среди развалин уничтоженных заборов, развалин фундаментов, «римским форумом», как я называл, к Молчановке. Прямо к тому старому барскому дому, с мезанином, где — в столь отдаленные времена! — жил я студентом, дышал тополем, светом, милой Москвой. Дом еще держится, тополя уже нет.

Итак, иду читать. Для этого надо бы купить манжеты, неудобно иначе. Захожу в магазин. В кармане четыре миллиона. Манжеты стоят четыре с половиною.

Ну, почитаем и без манжет.

Сиреневый вечер, мягкий туман, барышни, пожилые любители Италии, кафедра, все как следует. Моральный и аллегорический смысл «Божественной Комедии», Данте в Падуе, Орделаффи... В окне апрельский, влажно-грустный вечер. Аплодисменты, бледное электричество, друзья... и над убогой жизнью Дантовский Орел, подобный виденному у венца Афона. Прореял — все к себе поднял.

ДАНТЕ У СКИФОВ

1. «На половине странствия нашей жизни
«Я оказался в некоем темном лесу,
«Ибо с праведного пути сбился.

4. «О, сколь трудно рассказать об этом
«Диком лесе, страшном и непроходимом,
«Наводящем ужас при одном воспоминании!

7. «Так он горек, что немногим горьше
его смерть.
«Но дабы помянуть о добром, что я там
нашел,
«Скажу сначала об ином, замеченном в нем
мною».

Что если бы теперь Данте явился на Кисловках и Арбатах времен «великих исторических событий»?

Он жил в век гражданских войн. Сам был изгнанником. Самому грозила смерть в случае, если бы ступил на родную землю, флорентийскую (сожгли бы его — igne comburatur, sic quod moriatur). «Божественная Комедия» почти вся написана в изгнании.

Данте не знал «техники» нашего века, его изумили бы автомобили, авиация, и т. п. Удивила бы открытость и развязность богохульства. Но борьба классов, диктатура, казни, насилия — вряд ли бы остановили внимание. Флоренция его века знала popolo grasso (буржуазия)

и popolo minuto (пролетариат) и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли.

Четыре года назад профессор Оттокар, русский историк Флоренции, выходя со мной из отеля моего "Corona d'Italia", показывая на один флорентийский дом наискосок, сказал:

— В четырнадцатом веке здесь помещался первый совет рабочих депутатов.

Было это во время так называемого «восстания Чиомпи», несколько позже Данте, но в его столетии. Так что история началась не со вчерашнего дня.

Некрасота, грубость, убожество Москвы революционной изумили бы флорентийца. Вши, мешочники, мерзлый картофель, слякоть... И люди! Самый наш облик, полумонгольские лица...

ПАЕК

Думаю, что в осажденных городах население на паек сажали и в средние века. Данте сражался при Кампальдино, но осады ни одной ему не пришлось переживать. Так что насчет пайка он, наверно, столь же непонимающий, как и вообще все на Западе, они в пайке (le payok) ничего не смыслят вследствие своей крайней отсталости.

Пайки бывают разные. Я хорошо знаю академический, и всегда буду ему благодарен, буду курить ладан из кадильниц и петь, и славить его, ибо благодаря ему и семья моя, и я сам уцелели, и многие из моих знакомых тоже.

— В среду выдают паек!

Это значит, что писатели из Кривоарбатского, философы с Гагаринского, Гершензон из Никольского и еще многие из других мест двинутся ранним утром, с салазками, тележками, женами, свояченицами на Воздвиженку. Там в кооперативе будут стоять в очереди и волноваться, здороваться с математиками и зоологами, критиками и юристами. А потом наступит, наконец, блаженный час: нагрузят в повозку бараний бок (с бледно-синими ребрами), пуд муки, столько-то сахару, спички, кофе, папиросы...

Жены с благоговением взирают. Вот мы везем свое богатство в детской тележке с деревянными колесиками, они скрипят и визжат на весь Арбат, не беда, чередуемся, тащим, когда пересекаем улицу, то старательно сзади поддерживаем поклажу — ведь это все ценное, на целый месяц, стоимость всего этого рубля два, а то и два с половиной. Паек, паек, награда долгих лет признания, известности, как не ценить костей твоего барана и десятков твоих папирос? Как не потрудиться над тобой, не развести музыки диссонансов на весь Кривоарбатский?

ИНТЕРМЕЦЦО

Облик Орла — это гений в изгнании, нищете и бездомности. Данте был флорентийский дворянин. Жил в своем доме, обладал достатком. Гражданские усобицы разметали все. Он потерял семью, Флоренцию, родную землю. Скитаясь в Северной Италии учителем литературы, полуприживальщиком сильных мира сего, написал великое творение.

Труднее всего было ему одолевать свой гнев и гордость. Он ненавидел «подлое», плебейское, в каком бы виде не являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких «царьков» Италии. Не меньше презирал и демагогов. Что стало бы с ним, если бы пришлось ему увидеть нового «царя» скифской земли — с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упрямца и сумасшедшего?

Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения.

ЭКЛЕР ПРИ НЕПЕ

В надвигающемся безумии, в ощущении гибели того, что сам и выдумал, хитрец отменил половину собственного дела. Среди других последствий оказалось одно, малое для «событий», человеческому же сердцу видимое, милое, понятное.

Появился эклер — победа жизни. Его где-то пекли, но уже не тайком, а законно. Законно же и продавали — сладкий, гладко-глянцевитый эклер на Арбате, Никитской, где угодно, прямо на улице. Сколько миллионов спустил я на эти эклеры, на ласточек «слишком медленной весны», но все же ласточек, все же эклер знак вольного творчества, личное, а не казарма.

В моего друга Х. была влюблена барышня. Ее болезнь носила нежный, мечтательный, но и упорный характер. Они встречались иногда в обществе, на заседаниях. Но ей этого было мало. С упорством влюбленных она неожиданно являлась где-нибудь на углу Никитской и Спиридоновки, как раз когда он проходил, здоровалась, вспыхивала, бормотала несколько слов и исчезала.

Однажды в сухой августовский день пыль и коричневые листья летели по бульвару. Х. выходил из переулка. И не удивился, встретив темные, застенчивые, но и полоумные глаза.

— Здравствуйте, — сказал он, как обычно, снял шляпу, пожал ее горячую руку. Она молча сунула ему левой рукой теплый и глянцевитый эклер.

— Это вам... возьмите, вам...

Вспыхнула, слезы блеснули на глазах, и от любви, от смущения ничего уже больше не могла прибавить, убежала.

— Что же бы ты сделал с этим эклером? — спросил меня Х.

— Я бы его съел.

— Вот именно. Я так и поступил.

— И я считал бы его очень трогательным и милым подарком.

— Так ведь оно и есть в действительности.

— Благодаря чему я сохранил бы славное, с улыбкою, воспоминание.

— Оно и сохранилось. Эклер же показался мне особо вкусным.

ФЕДЕРИГО ДА МОНТЕФЕЛЬТРО

На столе у меня лежит том Сизеранна о знаменитом урбинском кондотьере. Его носатый профиль вспоминается еще во Флоренции, по Пьеро делла Франческа в Уффицци. Во время «великой» русской революции, работая над книгой об Италии, я изучал жизнь сына Федериго, меланхолического и несчастного Гвидобальдо.

Да, Италия и красота много помогли пережить страшное время. И развертывая книгу, сейчас ощущаешь сразу три эпохи русского человека: первую, мирно-довоенную, поэтическую, когда Италия входила золотым светом. Вторую трагическую, — в ужасе, ярости и безобразии жизни она была единственным как бы прибежищем, Рафаэль и божественная Империя, Парнас и музы Ватикана умеряли бешенство скифа. И вот теперь, третья...

Как о ней сказать верно? — Революция кончилась. Но для нас кончилось и младенчески-поэтическое. Началась жизнь. Революция научила жизни. С прибрежья, где гуляли, любовались и позировали — спустились мы в «бытие». Пусть ведет вечный Вергилий. Началось схождение в горький мир, в «темный лес». Да будет благословенна поэзия. Не забыть Аполлона, не забыть Рафаэля. Но иное à l'ordre du jour. Не позабудешь Италии, и не разлюбишь ее. Но нельзя уже позабыть «человечества», его скорбного взора, его преступлений и бед, крестного его пути.

Федериго, уважаемый герцог, покоритель и завоеватель, книголюб, собравший лучшую библиотеку Ренессанса (считал, что напечатанная книга — дурной тон!) — вы теперь мирно будете стоять на полках той моей библиотечки, на которую с высоты своего урбинского замка вы и не взглянули бы, не удостоили б. Я прочту книгу о вас — и отложу. Я не буду в н е й, е ю жить. Эстет, воитель, государь — вы правы. Но и у меня есть своя правда. Ни вам, да никому вообще я ее не отдам.

М. О. Гершензон

Если идти по Арбату от площади, то будут разные переулки: Годеинский, Староконюшенный, Николо и Спасопесковский, Никольский. В тринадцатом номере последнего обитает гражданин Гершензон.

Морозный день, тихий, дымный, с палевым небом и седым инеем. Калитка запушена снегом. Через двор мимо особняка тропка, подъем во второй этаж и начало жития гершензонова. Конец еще этажом выше, там две рабочие комнаты хозяина.

Гершензон маленький, черноволосый, очкастый, путанно-нервный, несколько похожий на черного жука. Говорит невнятно. Он почти наш сосед. Иной раз встречаемся мы на Арбате в молочной, в аптеке, или на Смоленском.

Сейчас, мягко пошлепывая валенками, ведет он наверх. Гость, разумеется, тоже в валенках. Но приятно удивлен тем, что в комнатах тепло. Можно снять пальто, сесть за деревянный, простой стол арбатского отшельника, слушать сбивчивую речь, глядеть, как худые пальцы набивают бесконечные папиросы. В комнате очень светло! Белые крыши, черные ветви дерев, золотой московский купол — по стенам книги, откуда этот маг, еврей, вросший в русскую старину, извлекает свою «Грибоедовскую Москву», «Декабриста Кривцова». Лучший Гершензон, какого знал я, находился в этой тихой и уединенной комнате. Лучше и глубже, своеобразнее всего он говорил здесь, с глазу на глаз, в вольности, никем не подгоняемый, не мучимый застенчивостью, некрасотой и гордостью. Вообще он был склонен к преувеличениям, извивался, мучительная ущемленность была в нем. Вот кому не хватало здоровья! Свет, солнце, Эллада — полярное Гершензону. Он перевел «Исповедь» Петрарки и отлично написал о душевных раздираниях этого первого в средневековье человека нового времени, о его самогрызении, тоске.

Но, разумеется, Гершензону прятно было и отдохнуть. Он отдыхал на александровском времени. И в мирном разговоре, под крик галок московских тоже отдыхал.

* *
*

Я заходил к нему однажды по личному делу, и он помог мне. А потом — по «союзному»: Союз писателей посылал нас с ним к Каменеву «за хлебом». Так что в этой точке силуэт Гершензона пересекается в памяти моей со «Львом Борисовичем». Есть такой рассказ у Чехова: «Толстый и тонкий»...

* *
*

О Каменеве надо начать издали. В юношеские еще годы занес меня однажды случай на окраину Москвы, в провинциальный домик тихого человека, г. Х. Там было собрание молодежи, несмотря на безобидность хозяина напоминавшее главы известного романа Достоевского или картину Ярошенки. Особенно ораторствовал молодой человек — самоуверенный, неглупый, с хорошей гривой. Звали его Каменевым.

Прошло много лет. В революцию имя Каменева попадалось часто, но ни с чем для меня не связывалось: «тот» был просто юноша, «этот» председатель московского совета, «хозяин» Москвы. Что между ними общего?

Однажды вышел случай, что из нашего Союза арестовали двоих членов. Правление послало меня к Каменеву хлопотать. Он считался «либеральным сановником» и даже закрыл на третьем номере «Вестник» Чека за открытый призыв к пыткам на допросах.

Чтобы получить пропуск, пришлось зайти в боковой подъезд бывшего генерал-губернаторского дома на Тверской, с Черныпевского переулка. Некогда чиновник с длинным щелкающим ногтем на мизинце выдавал нам здесь заграничные паспорта.

Теперь, спускаясь по лестнице с бумажкою, я увидел бабу. Она стояла на коленях перед высоким «типом» в сером полушубке, барашковой шапке, высоких сапогах.

— Голубчик ты мой, да отпусти ты моего-то...

— Убирайся, некогда мне пустяками заниматься.

Баба приникла к его ногам.

— Да ведь сколько времени сидит, миленький мой, за что сидит-то...

...У главного подъезда солдат с винтовкой. Берут пропуск. Лестница, знакомые залы и зеркальные окна. Здесь мы заседали при Временном Правительстве, опираясь на наши шашки — Совет Офицерских Депутатов. Теперь стучали на машинках барышни. Какие-то дамы, торговцы, приезжие из провинции «товарищи» ждали приема. Пришлось и мне подождать. Потом провели в большой, светлый кабинет. Спиной к окнам, за столом сидел бывший молодой человек Марьи-

ной рощи, сильно пополневший, в пенсне, довольно кудлатый, более похожий сейчас на благополучного московского адвоката. Он курил. Увидев меня, привстал, любезно поздоровался. Сквозь зеркальные стекла слегка синела каланча части, виднелась зимняя улица. Странный и горестный покой давала эта зеркальность, как бы в елисейских полях медленно двигались люди, извозчики, детишки волокли санки. В левом окне так же призрачно и элегически выступали ветви тополя, телефонные проволоки в снегу, нахохленная галка...

Мы вспомнили нашу встречу. Каменев держался приветливо-небрежно, покровительственно, но вполне прилично.

— Как их фамилии? — спросил он об арестованных.

Я назвал. Он стал водить пальцем по каким-то спискам.

— А за что?

— Насколько знаю, ни за что.

— Посмотрим, посмотрим...

Раздался звонок по телефону. Грузно, несколько устало сидя, поджимая под себя ноги, Каменев взял трубку — видимо лениво.

— А? Феликс? Да, да, буду. Насчет чего? Нет, приговор не приводить в исполнение. Буду, непременно.

Положив трубку, обратился ко мне.

— Если действительно не виноваты, то отпустим.

Мне повезло. Арсеньева и Ильина удалось на этот раз выудить.

* * *

Что могло нравиться Гершензону в советском строе? Быть может то, что вот ему, нервно-путаному, слабому, но с глубокой душой «тип» в полушубке даст по затылку? Что свирепая, зверская лапа сразу сомнет и повалит всё хитросплетенье его умствований? Но легко ли ему было бы видеть этого типа у себя в Никольском, в светлой рабочей комнате, и в другой, через коридорчик, где у него тоже стояли книги. Гершензон не раз плакался на перегруженность культурой. В нем была древняя усталость. Все хотелось приникнуть к чему-то сильному и свежему. Истинно-свежего и истинно-здорового он так и не узнал, все лишь мечтал о нем в подполье. И стремясь к такому, готов был принять даже большевицкую «силушку» — лишь за то, что она первобытно-дика, первобытно-яростна, не источена жучком культуры.

После случая с Ильиным и Арсеньевым я приобрел репутацию «спеца» по Каменеву. Считалось, что я могу брать его без промаху. Так что в мелких писательских бедах направляли к нему меня.

Одна беда надвигалась на нас внушительно: голод. Гершензон разузнал, что у московского совета есть двести пудов муки, с неба свалившихся. В его извилистом мозгу вдруг возникла практическая мысль: съесть эту муку, т. е. не в одиночку, а пусть русская литера-

тура ее съест. Наше Правление одобрило ее. И вот я снова в Никольском переулке, снова папиросы, валенки, пальто с барашковым воротником, несвязная речь, несвязный ход гершензоновских ног по зимним улицам Москвы...

Без радости вспоминаю эти малые дела тогдашней жизни, более как летописец. Что веселого было в восторженном волнении Гершензона, в его странном благоговении перед властью? В том, что мы, русские писатели, должны были ждать в приемной, подгоняемые голодом? В том, что Гершензон патетически курил, что Каменев принял нас с знакомой «благодушною» небрежностью, учтиво и покровительственно? Заикаясь и путаясь, Гершензон говорил вместо «здравствуйте» «датуте», весь он был парадокс, противоречие, всегда склонное к самобичеванию, всегда готовое запылать восторгом или смертельно обидеться. Рядом с ним Каменев казался ярким обликом буржуазности, самодовольства и упитанности — торжествующего и «культурного» мещанина.

Да, на каких-то мельницах московского совета, правда, залежалось двести пудов, и мы, по-своему, даже должны быть благодарны Каменеву: мука попала голодающим писателям. Но... «ходить в Орду» невесело.

И далее картина: Смоленский бульвар, какой-то склад, или лабаз. Морозный день. Бердяев, Айхенвальд, я, Вяч. Иванов, Чулков, Гершензон, Жилкин и другие — с салазочками, на них пустые мешки. Кто с женами, кто с детьми. Кого заменяют домашние. В лабазе наш представитель, И. А. Матусевич, белый от муки, как мельник, самоотверженно распределяет «пайки» (пуд, полтора). Назад везем мы их на санках, тоже овеянные питательною сединою, по раскатам и ухабам бульвара — кто на Плющиху, кто к Сивцеву Вражку, кто в Черныше́вский. Ну, что ж, теперь две-три недели смело провертимся.

* * *

В эти тяжелые годы многое претерпел Михаил Осипович Гершензон. Много салазок волок собственным горбом, по многим горьким чужим лестницам подымался, много колол на морозе дров, чистил снег, даже голодал достаточно. Он упорно и благородно боролся за свою семью, как многие в то время. Семью любил, кажется, безмерно. Знал великие скорби болезни детей, их тяжелой жизни и переутомленья. Стоически голодал, вместе со своею супругой, отдавая лучшее детям, за тяготы этих лет заплатил ранней смертью.

Как всякий «истинный», не сделал карьеры при большевиках. Как Сологуб, писал довольно много, для себя, но сдался раньше его. Гершензон умер в 1925 году.

...Гершензоновой могиле кланяюсь.

„Веселые дни“

1921 г.

ЛАВКА

Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид: мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девицы, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой, разглядывали наши сокровища, а то и самих нас.

«Книжная Лавка Писателей». Осоргин, Бердяев, Грифцов, Александр Яковлев, Дживелегов и я — не первые ли мы по времени нэпманы? Похоже на то: хорошие мы были купцы, или плохие, другой вопрос, но в лавке нашей покупатели чувствовали себя неплохо. С Осоргиным можно было побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым о кризисах и имманентностях, с Грифцовым о Бальзаке, мы с Дживелеговым («Карпыч») по части ренессансно-итальянской. Елена Александровна, напоминая Палладу, стояла за кассой, куда шли сначала сотни, потом тысячи, потом миллионы.

Осоргин вечно что-то клеил, мастерил. Собирал (и собрал) замечательную коллекцию: за отменою книгопечатания (для нас, по крайней мере), мы писали от руки небольшие «творения», сами устраивали обложки, иногда даже с рисунками, и продавали. За свою «Италию» я получил 15 тысяч (фунт масла). Продавались у нас так изготовленные книжечки чуть не всех московских писателей. Но по одному экземпляру покупала непременно сама лавка, отсюда и коллекция Осоргина. Помещалась она у нас же, под стеклом. А потом поступила, как ценнейший документ «средневековья» в Румянцевский музей.

Итак, Осоргин хозяйничал, Бердяев спорил об имманентностях, горячился из-за пайков, был добросовестен, элегантен и картинен. Грифцов «углубленно» вычислял наши бенефиции. Нервически поводил голубыми, прохладными глазами, ни с кем ни в чем не соглашал-

ся: где-то подкожно заседал у него Бальзак, им он презрительно громил противников. Я... В зимние дни, когда холодновато в лавке, сидел на ступеньках передвижной лестницы, где было теплее. До конца дней своего купечества так и не усвоил, где что стоит (книги у нас, правда, постоянно менялись). Если покупатель был приятный, то еще он мог рассчитывать, что я двинусь. Если же появлялась, например, барышня и спрашивала:

— Есть у вас биографии вождей? — я прикидывался вовсе непонимающим:

— Каких вождей?

— Ну, пролетариата...

— Нет, не держим.

И вообще для несимпатичных редко слезал с насеста.

Такой книги нет.

А если е с т ь, то обычный вопрос (вполголоса).

— Елена Алаксандровна, где у нас это?

И Паллада, отсчитывая миллионы, молча указывала пальцем полку.

Мы, «купцы», жили между собою дружно. Зимой топили печурку, являлись в валенках. Летом Николай Александрович надевал нарядный чечунчовый костюм с галстуком-бантом. Над зеркальным окном спускали маркизу, и легенькие барышни смотрели подолгу, задумчиво, на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

В глубине лавки была у нас дверка и узкая лестница наверх, на хоры с комнаткой, куда мы иногда прятались от скучных посетителей, где устраивали лавочные собрания — вообще это были «кулисы» торгового дома. В комнатке стоял огромный стол, заваленный книгами, и вокруг на полках тоже много книг. Но уж что з д е с ь находится, не знал не только я, а, пожалуй, и сам Грифцов.

Место это носило несколько таинственный и романтический характер. С хор можно было, незамеченным, наблюдать жизнь лавки. Полутьма, витая лесенка, пыль — все давало ощущение спрятанности, укрытия.

В этом-то уголке и собрал нас однажды Осоргин — стоял знойный, сухой август, в лавку набивалась пыль и горячий ветер трепал волосы, как только выйдешь. Осоргин многозначительно сообщил, что в городе организован Комитет Помощи Голодающим, состоять он будет из «порядочных» людей, но под контролем власти. Голод (на Волге, в Крыму) в то лето, правда, был ужасный. В Самарской губернии так выжгло зелень еще с весны, что поля имели вид черно-бархатной, с отливом, скатерти. Урожая «не оказалось», а так как у крестьян свое-

временно обобрали прежние запасы, то голод наступил мгновенно. Власть растерялась. И под минутой паники согласилась на «Общественный Комитет». Нам, представителям литературы, предложили тоже войти — об этом мы и совещались наверху. Предложение шло от Прокоповича, Кусковой и Кишкина. От «власти» председателем назначили Каменева.

Идти или не идти? Вот о чем мы рассуждали И так как лавка заключала в себе президиум Союза Писателей, то нас это близко касалось. Решили идти. Выбрали Осоргина и меня.

У русского человека есть такие выражения: «за компанию», «с хорошим человеком и выпить можно». «За компанию»... отчего же не попробовать? Пожалуй, не будь это в лавке, с Осоргиным, пришел бы меня приглашать какой-нибудь честный бородач в калошах или старая дама, я бы и не согласился. Но тут — была не была!

На другой день уже весь город знал о Комитете. Тогда еще считали, что «они» вот-вот падут. Поэтому, Комитет мгновенно разрисовали. Было целое течение, считавшее, что это — в замаскированном виде — будущее правительство! Другие ругали нас, среди них С. П. Мельгунов, за «соглашательство»: ведь мы должны были работать под покровительством Льва Борисовича. Помню какого-то желчного интеллигента, который купил у меня на грош, а расстроил на тысячу рублей: выходило, что мы чуть ли не подсобники и т. п. На следующий день в газетах нас превозносили (очевидно, уже считали «своими»), а нашими именами уязвили непошедших.

Газеты эти были расклеены. Выйдя из лавки, завернув в Леонтьевский, я наткнулся на такую «стенгазету». Вокруг нее куча читателей. Безрадостно увидал я свое имя рядом с Максимом Горьким. Мрачный тип сзади, прочитав, фукнул и сказал:

— Персональный список идиотов.

«ДЕЛО»

Были мы идиотами, или нет, каждый решает по-своему. Несомненно лишь то, что наша жизнь приобрела некий острый, романтически-заговорщицкий оттенок. Мы ходили в переулочек у Арбата к Кусковой. В ее квартире шла непрерывная суматоха. Являлись, совещались, заседали. Смесь барства, интеллигентства с крепкой настойкой Москвы... Вблизи двухэтажного ее дома, церковка, окно кабинета Прокоповича выходит во двор, где играют детишки, с деревьев листья летят, самый дом — не то особняк, не то помещичья усадьба, угол старой Москвы. Еще Герцены, Хомяковы, Аксаковы жили в этих краях. Небольшие сады при небольших особняках — разве не деревня?

И Сергей Николаевич и Екатерина Дмитриевна были очень серьезны. Их положение не из легких. Все это они затеяли, предстояло найти линию и достойную, и осуществимую.

Мы составили литературную группу. Осоргин редактировал газету Комитета — «Помощь». Ее внешний вид вполне повторял «Русские Ведомости». Как только появился первый номер, по Москве прошел вздох. — «Теперь уж падут! „Русские Ведомости" вышли, стало быть, уж капут!».

Подготовительная часть у Кусковой окончилась, открылись собрания уже с «ними» в особняке на Собачьей Площадке. «Наших» было числом гораздо больше: профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы — вроде парламента. Вот какие люди: Прокопович, Кускова, Кишкин, Кутлер, Ф. А. Головин, проф. Тарасевич (ныне покойный), Вера Фигнер и много других. С «их» стороны: Каменев, Рыков, Луначарский. Большинство было у «нас», права «наши» считались большие, и настроение (в наивности нашей) такое:

— А п-па-звольте спросить, милостис-дарь, а н-на каком основании вы изволили обобрать Нижегородскую губернию? А н-не угодно ли вам будет срочно отправить пятьсот вагонов в Самар-р-рскую?

Волны наших государственных вожделений приходилось принимать Каменеву — он председательствовал. Приезжал и Рыков. Но, сколько помню, всегда пьяный. В тужурке, с длинным мальчишеским галстуком, сальными волосами. Понять что говорит, трудно, очень плохо двигал языком. Каменев же был взят как наилучший мост к нам.

Вспоминая эту свою «деятельность», я не могу припомнить, что именно путного сделал. Кажется, больше слушал, да рассматривал. Садился в первый ряд, с независимым видом. Однажды сказал Каменеву:

— Прошу слова.

Он любезно кивнул и записал меня, но тут встал Прокопович, и очень толково, именно то и сказал («А п-пазвольте, милостис-дарь, на каком основании?»), что я хотел спросить. Мне не повезло. Я от слова отказался, просто только с победоносным видом оглянулся на стулья «наших», за которыми светлые окна — в них вечерняя Москва, невысокие домики Собачьей Площадки, урна, зеркальное небо и раннепадающие листы.

Из этих шумных заседаний я вынес такое наблюдение: «они» и «мы» — это название комедии Островского «Волки и овцы». У них зуб, наглость, жестокость. Все они шершавые, урчат, огрызаются. (Особенно это ясно стало, когда за Каменевым начали появляться какие то безымянные типы в куртках... Позже мы все это хорошо поняли). И нет добрых глаз, доброго взгляда. Вот это страшная черта советских людей, я ее часто замечал: недобрые глаза и отсутствие улыбки. А «наши»... — ну, мы себя хорошо знаем.

«Мы» настаивали, чтобы была послана в Европу делегация от Комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места. «Им» это не так-то нравилось. Началась торговля. То ли мы им должны уступить, то ли они нам.

Я жил тогда в Москве один, в Кривоарбатском — семья была в деревне. Ходил обедать на Арбат в столовую, очень нарядную, только что открывшуюся. Бывал и в лавке, но реже.

Как-то жарко, ветрено было в Москве, нервно и занято. Так осталась у меня в памяти пустынность московских вечерних переулков, горячая сушь августа, ощущение легкости и полета.

Раз вечером мы выходили с Осоргиным с заседания. Луна хорошо светила. На этом заседании я просил Каменева за «сидевшего» в Одессе писателя Соболя.

Он небрежно спросил:

— Какого Соболя? Который написал роман «Пыль»?

— Да.

— Плохой роман. Пусть посидит.

Я заметил, что он сидит уже семь месяцев, неизвестно за что.

— Ну, это много. Постараемся выпустить.

И вот у выхода Каменев, подходя к своей машине, столкнулся с нами.

— Пожалуйста, — сказал любезно, — вам далеко? Я подвезу.

Не сговариваясь, мы с Осоргиным толкнули слегка друг друга и отказались. Мы шли лунным, пахучим вечером, радостно-грустным в красоте ночи московской. Шли некоторое время вместе, а потом разошлись: я на Арбат, он в Черныше́вский. Памятен был этот вечер, сладок и пронзителен. Но и он ушел, и много с тех пор изменилось. Тогда Соболь сидел, а Каменев уезжал на шикарной машине — «генерал-губернатор» Москвы. Затем Соболь — этот глубоко-несчастный человек — вышел из тюрьмы, ушел к «ним», окончательно запутался и револьверным выстрелом разрешил свою незадачливую жизнь. Соболя я просто жалею, над Каменевым злорадствовать не хочу.

А в тот вечер мягко нес его автомобиль к Кремлю.

COUP D'ETAT

Мы собрались в свой особняк часам к пяти, на заседание, как было назначено. Сегодня решалось все дальнейшее. Комитет поставил ультиматум: или нашу делегацию выпускают в Европу для сбора денег, или мы закрываемся, ибо местными силами помочь нельзя. Настроение нервное, напряженное. «Наши» сидят на подоконниках залы, толпятся в смежной комнате, разговаривают около стенных карт и диаграмм.

Время идет. Вечереет. Под окнами какие-то куртки, а Каменева все нет. Нервность и удивление. Вынимают часы, смотрят.

Я находился в комнате рядом с залой. Помню, — в прихожей раздался шум, неизвестно, что за шум, почему, но сразу стало ясно: идет беда. В следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами, в высоких сапогах, бурей вылетели из полусумрака передней и один из них гаркнул:

— Постановлением Всероссийской Чрезвычайной Комиссии все присутствующие арестованы!

ПУТЕШЕСТВИЕ

Паники не произошло. Все были довольно покойны. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер и багрово-вспыхнувшую Екатерину Дмитриевну. Еще помню, что через несколько минут по водворении пришельцев, через ту же прихожую пробирался к нам, несколько неуклюже и как бы конфузливо П. П. Муратов.

— Ты зачем тут? Эх-х, ты...

П. П. был тоже членом Комитета. Он опоздал. Подойдя к особняку, увидел чекистов, увидел арест...

— Ну и чего же ты не повернул?

— Да уж так, вместе заседали, вместе и отвечать...

Теперь он уже за чертой чекистов. Не утечешь!

Был бледно-сиреневый вечер, когда мы вышли. У подъезда стояли автомобили. Осоргин, я и Муратов, как прожили полжизни вместе, так вместе и сели. Теплый воздух засвистел в ушах, казалось почему-то, что машина мчится головокружительно. Неслись знакомые переулки, Арбат, мелькнула площадь, Воздвиженка, и странно пустынной казалась Москва. Очень хотелось встретить хоть кого-нибудь знакомого... Моховая, Университет. У книжной лавки Мельгунова мелькнуло, наконец, чье-то знакомое лицо — но машина наддала, через две-три минуты, после удивительнейшего полета (я другого, все-таки, такого в жизни не запомню!), мы остановились у «приветливых» дверей дома «России», на Лубянской площади и сошли с автомобиля: два года назад в эти же двери вошел и не вышел живым мальчик — Алеша Смирнов, многострадальный мой пасынок.

НОЧЬ

... Всем нам пришлось перебывать у окошечка, похожего на кассу банка или на бюро спальных вагонов: там о каждом записывали, что требуется, и вновь собрались мы в нашей «случайной» комнате — ждали дальнейшей участи.

Я думаю, самым невозмутимым из нас оказался Ф. А. Головин. Всегда у меня была слабость к этой безукоризненно-лысой, изящной и умной голове, к тонкому, древнему профилю (он потомок Комненов), бесцветно-спокойным глазам. На воле, в барское довоенное время, и в голодные дни революции мы немало играли с ним в шахматы. Он с одинаковым безразличием и выигрывал и проигрывал. Через полчаса по прибытии, когда другие еще горячились, расходовали подожженную нервную энергию, Федор Александрович уже сел играть с черно-мрачным и так же равнодушным Кутлером. Откуда они добыли шахматы, я не помню: кажется, тут-же и смастерили из картона. Впрочем, игра продолжалась недолго: нас повели в еще новое помещение. Ф. А. равнодушно забрал фигурки, записал положение и в своем элегантном костюме, белых брюках, с шахматами под мышкой, зашагал по застеночным коридорам.

Мы вошли в довольно большую комнату с двумя цельного стекла окнами. Надпись на стекле, глядевшую в переулок, можно было прочесть и отсюда:

— Контора Аванесова.

Теперь в конторе нары. Их ненадолго занимали случайные постояльцы. Здесь перст Судьбы сортировал: жизнь — смерть, смерть — жизнь. Кускову, Прокоповича и Кишкина очень скоро увели от нас во внутреннюю тюрьму. Мы попрощались сдержанно, но с волнением. Никто не знал на что их ведут.

Мы с П. П. Муратовым легли рядом на голые нары, около окна. Осоргин находился в другом углу с гр. Бенкендорфом. Хотелось есть. Электрическая лампочка заливала все сверху мертвым светом. Мы лежали, и сначала говорили, а потом стали умолкать. Заснуть в эту, первую свою ночь в тюрьме, я не мог. К счастью, ужаса не испытывал. Но нервное возбуждение заставляло бодрствовать. Мне даже казалось, что я очень оживлен, почти весел. Странным образом, мало думалось о безумии окружающего. Знал, что в этом же доме, может быть, в эти глухие часы кого-то ведут в подвал... но (самозащита, что ли?) мысль на таком не останавливалась. Часа в три, например, ясно помню шум мотора, заведенного на дворе — мы отлично знали, что это значит — все же впечатление было меньше, чем можно было бы думать. Очень уязвляла мысль о семье: жена и дочь были в деревне, все хотелось, чтобы до них пока не дошла весть о моем аресте.

А затем... затем я наблюдал. По моему мнению, спали многие. Среди них, недалеко от меня — Ф. А. Головин. Он лежал на спине. На его правильном, лысом черепе блестел, как на слоновой кости, луч электричества. Руки аккуратно сложены накрест, белые брюки в складке, желтые ботинки, воротнички даже не расстегнуты. (Он и позже спал всегда в полном параде. Объяснял так, что если ночью позовут на допрос или расстрел, то нельзя выходить на такое дело не в порядке). Сейчас клоп медленно взбирался по теневой стороне его черепа, ища

удобного места. Доползши до освещенно-блестящей части, испуганно повернул назад.

В это время в камеру ввели высокого человека, неуверенно шагавшего к нам. Я толкнул П. П. — тот поднял заспанное, затекшее от неудобного изголовья лицо и ухмыльнулся: это был его приятель — Борис Виппер, молодой профессор.

— Ну, вот... — пробормотал П. П., — и вы тут. Нашего полку прибыло.

Виппера взяли ночью и прямо доставили сюда.

«ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МНЕ ГОТОВИТ»

1) Яркое солнце. Было воскресенье, этот августовский свет весело блистал по Москве. В Петербурге сквозь влажно-голубоватую невскую дымку освещал тела безвинно-убиенных по Таганцевскому заговору.

2) И очень приятное, что он нам дал, были посылки. Да, за стенами, там на воле оказалась Москва, добрая Москва! Чрез тысячи пор, щелей просочилась она в тюрьму, обходя правила адских кругов. Жены, сестры, невесты, дружественные, знакомые и полузнакомые руки упаковывали нам свертки — и в солнечный воскресный день вдруг въехала груда пакетов — «передач». К этому времени Осоргин был уже избран нашим старостой. Ловкий и легкий, в счастливом нервном возбуждении ответственности, он хорошо провел роль, «был в форме». Вот и сейчас элегантно распоряжался раздачей передач, весело выкликая адресатов.

Так как все «мои» находились в деревне, я ничего не ждал. Вдруг улыбающееся лицо Осоргина обернулось, он назвал мое имя. Только тут я понял, как приятно получить в тюрьме знак благожела́ния и памяти. Этим обязан был я Р. Г. Осоргиной — вместе с пакетом мужу, уложила, притащила на себе она и мне подмогу. Никогда, даже в детстве, не радовал меня так подарок, за него храню Рахили Григорьевне всегдашнюю благодарность. Там было одеяло, подушка, белый хлеб, сахар, какао — вообще столько прелестей!

Неполучившие (не-москвичи) сразу заметны были по грустным глазам. Разумеется, тотчас же началась дележка, «первобытно-братственное» равенство осуществилось с некоторым даже напором со стороны получивших. Вся наша «преступная банда» оживилась. Особенно старался один инженер — Метт. Он получил огромную посылку, с нервной расточительностью раздавал свои сокровища.

Вид камеры изменился: стали устраиваться, на нарах появились пледы, одеяла, подушки, началось бритье и умыванье, вообще жизнь в роде вагонной — дальнего следования.

Мы с П. П. Муратовым и Виппером устроили свой уголок у окна аванесовской конторы и залегли крепко, по медвежьи. После бессон-

ной ночи дремалось неплохо. Время шло быстро. Черно-лохматый Кутлер играл, как полагалось, в шахматы с Головиным, и по их виду нельзя было понять, кто побеждает. Осоргин хлопотал с Бенкендорфом в другом углу. Под вечер он прибежал ко мне, несколько женственно припал, обнял и гаркнул:

— Вот она, жизнь то какая! Веселая жизнь. Ругаешь меня, что я тебя сюда затащил?

Историко-литературный угол оживленно загоготал.

А Осоргин уже вспорхнул, подобно Нижинскому, помчался для переговоров о кипятке.

ЗВЕЗДЫ

По вечерам мы их видели, но минутно, пересекая тесный двор, когда ходили умываться, за кипятком, и т. п. Никогда звезды не казались столь прекрасными. К сожалению, в том узком куске бархата, что восставал над головой, я не мог найти Веги. Но другие звезды видел. И они видели меня — в грязи, убожестве, кровавой слякоти отверженного места. Звезды и Вега вызывают в памяти рассказ, слышанный тоже в дни революции.

Г-жа Н. была замужем за немолодым человеком. Полюбила другого. После разных колебаний муж согласился, чтобы она устроила себе новую жизнь с этим другом. Они встретились все трое у Н., и решение было принято окончательно. На другой день г-жа Н. должна была уехать.

Ночью, однако, и она, и муж, и все родные были арестованы по обвинению в контрреволюции. Новая жизнь для г-жи Н. оказалась камерою смертников в Бутырках.

Еще на воле, когда шел их роман, г-жа Н. и г. Х. — оба мистики — полюбили звезду Вегу. Однажды, идя по Кузнецкому, г. Х. увидел на витрине книгу: «Голубая звезда». В повести этой было то-же мистическое поклонение Веге, как символу женственного. Книга пришлась по душе влюбленным. Они вместе читали ее.

Г-ну Х. удалось доставить книгу в тюрьму. Подчеркнув буквы слов, он дал понять, что каждый вечер, когда Вега появляется, он думает о г-же Н. — пусть и она поступит так же.

Г-жа Н., женщина изящная и тонкая, очень страдала в заточении. Жизнь отнимали у нее на грани долгожданного счастья! Она исполнила завет любимого человека. И по вечерам, при появлении звезды, глядя на нее, они мечтали друг о друге, тем поддерживали себя. Г-жа Н. при этом часто читала книгу.

Обвинение было ложным. Но погибла вся семья, не пощадили родных и знакомых, по древнему «до седьмого колена». За г-жей Н. смерть пришла, когда она читала о голубой звезде.

Встав, перекрестившись, она с книгою в спокойствии пошла навстречу Вечности.

Этот рассказ слышал я от той, кто последняя, сестрински поцеловала ее в лоб — и кому чудом удалось спастись.

* *
*

Звезды в застенке! Вас вспоминаю с любовью, взволнованно и благодарно...

СИДИМ

К нам попали газеты. О, теперь о нас писали иначе, чем в дни «персонального списка идиотов». Клонили к тому, чтобы весь наш комитет рассматривать как «заговор» и соответственно расправиться. С Таганцевым уж так и обошлись. Наших начали водить на допросы. Кутлер, Федор Александрович, кроме шахмат получили и еще обязанности. Прокопович, Кишкин и Кускова в эти дни были на черте смерти. Их гибель была решена, спасло вмешательство Нансена. Насколько знаю, он поставил условием своей помощи сохранение их жизней.

Понемногу начали мы сживаться с конторою Аванесова. Нам подбавляли кое-кого, кой-кто из наших уходил во внутреннюю тюрьму. По-прежнему, из города шли передачи. Настроение держалось бодрое. Чтобы его не ослаблять, решили развлекаться — читать лекции.

Кутлер читал о финансах. Этот умный, сумрачный человек был глубоким скептиком. Я думаю, он убежденно считал, что вообще все погибло: Россия, финансы, он сам, Комитет... Я спросил его раз:

— Николай Николаевич, а вот вы верили в это дело, когда шли?

Он улыбнулся, как бы отвечая младенцу:

— Разумеется, ни минуты.

— Зачем же вы шли?

Из его слов, сказанных с оттенком горечи, выходило, что и этот многоопытный муж, бывший министр, вроде нас грешных тоже пошел «за компанию»... Его лекция доказывала, что с советскими финансами плохо. Вспоминая его, я однако, все более убеждаюсь в бессилии скептицизма. Люди этого склада мало могут сделать. Верно ли даже они угадывают жизнь? Не нужна ли даже для этого живая сила веры? Ведь вот и не рухнули советские финансы, и сам Николай Николаевич, выйдя из тюрьмы, как раз занялся упреплением червонца — за него верили другие, он, должно быть, действовал и там по инерции, «так уж случилось»... — И с удивлением, вероятно, видел плоды рук своих. На этом червонце он и умер — грустный человек, всегда готовый к смерти и равнодушный к ней. Мне кажется, и умер он в горестном недоумении.

Борис Виппер читал, кажется, о живописи. П. П. Муратов о древней иконописи. С моим чтением произошел маленький веселый случай.

Было утро, солнечный день. Я говорил о русской литературе, как вдруг в камеру довольно бурно и начальственно вошло двое чекистов. В руке у одного была бумажка. По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить.

Правда, я не хотел играть под Архимеда. Вообще ни о чем не думал.

Но, вероятно, подсознанию не понравилось вторжение «постороннего тела», да еще грубоватого, прерывающего меня, я ответил почти недовольно:

— Ну да, да, вот кончу сперва лекцию...

Все захохотали и я смутился. Улыбнулся даже чекист:

— Успеете на свободе кончить.

МОСКВА

Я пожимал десятки рук. Со всех сторон наперебой давали поручения. И через несколько минут сухой и звонкий ветер, пыль дребезг московских улиц... Как светло, просторно! Извозчик медленно вез меня с моим тюремным скарбом на Арбат.

Весь этот день слился у меня в какое-то пестро-огненное движение. Я не мог усидеть на месте. Пустынная, большая наша комната в Кривоарбатском показалась скучной. Но Москва — родной. Меня приветствовали в арбатской столовой. На улице останавливали незнакомые и поздравляли. А я все не мог остановиться. Все мне хотелось идти, без конца говорить, волноваться — я и ходил по гостям до двух часов ночи — передавал и рассказывал женам, сестрам, родным об оставшихся. Был на Козихе у Головиных, был в Чернышевском у Р. Г. Осоргиной.

* * *

Что можно прибавить о нас? Кускова, Прокопович, Кишкин, Осоргин и еще некоторые просидели долго. Потом были сосланы. Потом попали за границу. Пользы голодающим, конечно, мы не принесли. Предсказания наших жен при начале Комитета («через месяц будете все в чеке») с точностью осуществились. Но вспоминая наше сидение, я вспоминаю не п л о х о е дело, а х о р о ш е е. Мы ошиблись в расчете. Но мне не стыдно, что я сидел. И Кусковой не стыдно.

Ну, а вот Каменеву...

В этом только и смысл. Мы в тюрьме были бодры, потому что правда была за нами. Мало? Нет, очень много!

Чтения

В декабре 1920 г., на «трудмобилизации» в Притыкине, предложили мне, как человеку «письменному» поступить писарем в Каширу. Жене моей заняться рубкой леса. Это не устраивало нас, и мы выбрались в Москву.

Денег, разумеется, не было. Но друзья нашлись. Друзья взяли в Лавку Писателей, и я встал за прилавок торговать книгами. Это куда лучше, чем служить у коммунистов, да и давало возможность жить. Получали мы уж не помню какие тысячи, но тысячи платили и за сахар, кофе. Так что не совсем хватало, приходилось подрабатывать. Приглашали кое-куда читать. Занятие не из веселых, но...

* *
*

— Как бы чего не вышло, смотрите, говорили мне в Лавке. — Будете все-таки читать у коммунистов...

Тогда в Москве можно было еще позволить себе роскошь н е читать у коммунистов! Надо сказать прямо: кроме н у ж д ы меня никто не принуждал читать в Доме Печати. (Еще отчасти было любопытство, да и некий вызов). Пригласил меня Полонский, известный критик, — кажется, он и заведовал этим учреждением: и приглашал-то с опаской, может быть, мол, еще не соблаговолит...

Я пришел часу в девятом, нарочно пораньше. После холодной моей комнаты, где мы с женой едва натапливали до десяти, одиннадцати градусов, приятно удивила теплота, освещение, культурный вид вестибюля, гостиной. Зала прямо отличная, с небольшой, но довольно элегантной эстрадой. И еще прелесть: буфет! Столики, как некогда в Литературном Кружке, можно спросить стакан чаю, бутерброд с красной

икрой и т. п. — этого я нигде за годы революции не видал. Так что вражеский стан хоть куда.

Немедленно сел за столик, честь честью, все мне и подали — и вполне развеселили. Собственно, не барышня, мне подававшая, а соседи. Их было двое, за столиком у стены. Одного совсем не помню, а другой, спиною ко мне, был в какой-то фригийской шапочке, в три четверти виднелось суховатое лицо, бритое — я даже обратил внимание, про себя назвал его:

— Якобинец.

Они разговаривали между собой. Сначала о чем-то «вообще», потом о Доме Печати. Якобинец угрюмо сутулился, буркал. Видимо, скептик здешних мест, некий «печальный Демон, дух изгнанья».

— Что же сегодня такое будет? — спросил собеседник.

— Чорт их знает, литературный вечер...

Собеседник зевнул.

— А кто будет читать?

— Известный мерзавец Борис Зайцев, хмыкнул Робеспьер.

Собеседник, повидимому, удовлетворился, — они спокойно продолжали о другом.

Подошел Полонский, любезно поздоровался, взглянул на мой крахмальный воротничок, приличный костюм, усмехнулся.

— Вы по-европейски...

Я улыбнулся тоже.

— Да и у вас по-европейски... светло, чисто, видите, чай пью. И меня только что обозвали мерзавцем.

Длинный нос Полонского выехал еще более вперед.

— ?

— Ничего, тут два типа рядом тоже чай пили, и делились впечатлениями... Их право...

— Ну, это недоразумение.

На эстраде у меня стоял стол, стул, электрическая лампочка, стакан с чаем. Зала была полна — все молодежь, довольно сдержанная, много барышень, люди в куртках, косоворотках, но фригийского своего приятеля я не заметил.

Особенно приятно было произнести вслух эпиграф: «Мирен сон и безмятежен даруй ми». — Молитва.

На слове молитва я даже остановился, оглядел публику. Некоторое, как бы легкое недоумение по ней прошло, но чуть-чуть, ветерком.

Читал я спокойно, и спокойно слушали. Настолько спокойно (и почти благожелательно!), будто я у себя в Союзе. Когда кончил, аплодировали — что за удивленье? Где же другие Робеспьеры?

— Наверное, в прениях-то насыплют... Прения были объявлены тотчас за чтением. Но и тут что-то странное... Хотел ли Полонский быть наперекор всему любезен, или загладить давешнее, но произнес слово почти юбилейное (оговариваясь, конечно, что я «не наш»). Петр

Семенович Коган, Львов-Рогачевский тоже сказали более, чем дружественно. Возражать не на что, спорить не с кем, только кланяйся да благодари...

* *
*

Не всегда так идиллически приходилось читать. Странно требовать, чтобы въ революции все было «мирен сон и безмятежен»...

Наш Союз устраивал иногда большие выступления: для сбора средств, частью из целей литературных. Один такой вечер назначили в Политехническом музее. Читать пригласили Сологуба, Вяч. Иванова, Белого, Балтрушайтиса и меня.

Политехнический музей известен — кудреватое здание, смотрит на Ильинские ворота — внутри коридоры, переходы, яркий свет, огромная аудитория, круто подымающаяся вверх. В тот морозный вечер все это кишело, бурлило: на недостаток публики не могли мы жаловаться.

Белый не приехал. Сологуб сидел в артистической — лысый, холодноватый.

— Да, — говорил, слегка встряхивая на носу пенсне. — Будем читать. Да, читать так читать. Читать так читать.

Явился красный с морозу Балтрушайтис. Вячеслав Иванов в длинном старомодном сюртуке, с золотящимися седоватыми локонами вокруг лба (сильно обнажившегося) пил чай, устремляясь всею фигурою вперед (от него и вообще осталось впечатление, что даже, когда он стоит, тело его наклонено вперед — как бы плывущий корабль. Золотое пенсне, влажная кожа, слегка воспаленная, быстрые небольшие глаза, носовой голос, редкостный блеск речи — более интересного и значительного собеседника я не встречал).

В общем же мы кучка, горсть, а в приоткрытую на эстраду дверь видно, как втекают, растекаются по рядам скамей темные фигуры, и чем выше, тем все гуще. Еще в первых рядах можно кое-кого рассмотреть «своих», дальше идет «племя молодое, незнакомое...», разговаривающее, курящее, топающее в нетерпении ногами.

— Читать так читать, — говорил Сологуб. — Да, будем читать. (Любил он однообразно и «загадочно» повторять одни и те же слова). Львов-Рогачевский сделал маленькое вступление: сам социал-демократ, как бы преподносил нас своей аудитории.

Все это вышло мирно и естественно. Читал и Вячеслав Иванов — кажется, стихи. Мы с Сологубом сидели на эстраде. Вячеслав Иванович раскланивался на аплодисменты. Была очередь Балтрушайтиса.

Поэт сумрачный, одинокий, неблагодарного типа, Балтрушайтис никогда не пользовался «популярностью». Его ценили в литературе и мало знала публика. В то время был он послом Литвы при СССР.

Но появление его вдруг оказалось необыкновенным: только он выступил, по аудитории пролетела молния, зигзагом разодрала массу, до-

толе равнодушную. Особенно силен был разрыв на верхах. Сразу вскочили какие-то люди, замахали руками, поднялся шум, крик, ничего нельзя ни понять, ни разобрать. Кто-то пытался кого-то удержать, кто-то с кем-то спорил... Потом донеслось:

— Долой! Убийца! Кровь, убийца...

Юргис Казимирович Балтрушайтис так же похож на убийцу, как и я. Но уже сверху катились — буквально скатывались вниз къ нашему суденышку, разъяренные люди, потрясая кулаками, красные от гнева — с лицами у ж а с н ы м и, это я хорошо помню.

— Убийца! Долой! Прекратить!

Балтрушайтис стоял бледный, что-то пытался сказать, но ничего не удавалось.

— Скандал, — повторял спокойно Сологуб. — Это скандал. Настоящий скандал.

Выяснилось, что литовские коммунисты протестуют против казней их товарищей в Литве — ответствен оказался Балтрушайтис, как посол. В сущности, мы в их власти. Ни оружия, ни полиции — несколько литераторов на эстраде! Балтрушайтиса поскорее увели. Львов-Рогачевский добился слова. Объяснил: Балтрушайтис известный поэт, ни к каким казням не имеет отношения, и т. п. Несколько приутихли. Раздались даже аплодисменты, устроители ободрились. Но лишь только Балтрушайтис показался, все опять вскипело и на этот раз уж безнадежно. Пришлось объявить перерыв, спешно отправить домой Юргиса Казимировича.

Затем выступать предстояло мне. Может быть, и я какой-нибудь «убийца». Не особенно радостно подходил я к кафедре...

— Господа, я прочту сейчас...

— Не господа, а товарищи, — поправили с верхов.

Но тут я проявил упрямство.

— Господа, — повторил громче: — сейчас я прочту свою вещь, называется она «Дон Жуан».

Я читал плохо. Приходилось напрягать голос, и явно не было никакого созвучия. Но раздраженья тоже я не ощущал в толпе. Прямо перед собой, во втором ряду, видел фуражку молодого писателя, нередко у меня бывавшего. Он относился ко мне дружественно, и отчасти покровительственно. «Ах, — говорил: — нельзя теперь о т а к о м и т а к писать! Вот имажинисты — это другое дело». Его молоденькое лицо с рыжеватыми глазами, не без приятности, и не без плутовства, посматривало с обычной снисходительной сочувственностью. Заламывая назад кепку, ухарским своим видом хотел он сказать — вот тебе и Дон Жуаны, знай наших, калуцких!

Сологуб прочел превосходные стихи — и то же было настроение: льда без прежней ненависти. Нет, кроме Балтрушайтиса никто теперь не интересен.

* *
*

Из Музея мы шли с Сологубом в Замоскворечье. Ильинка пуста, холодна. Идем серединою улицы, снег хрустит. Звезды. Небо протекает узкой лентою над головой, черны, угрюмы дома. На перекрестке костер, греются милиционеры. На углу Красной площади дохлая лошадь.

— Проклятая жизнь. Проклятая жизнь. Как при Гришке Отрепьеве. Жизнь как при Гришке Отрепьеве.

Сологуб поднял меховой воротник, пенсне запотело. Шагает неторопливо.

— Как при Гришке Отрепьеве...

Василий Блаженный, Красная площадь... Туман от мороза, скрип валенок наших, чернота в золоте неба, дальний выстрел, багровый костер сзади.

— А могли бы и нас с вами нынче в клочья разорвать. Да, могли бы в клочья. Так бы нас и разорвали в клочья. Мы бы ничего и не поделали. Вот бы и разорвали в клочья.

Говорил Федор Кузмич точно каркал. Да и правда, несло нам время великие беды. Та самая Анастасия Николаевна (жена его), что сопровождала нас по Москве застывающей, не так много позже кинулась в Неву... Федор Кузмич скоро умер — в бедности, болезнях, отвержении... (советской власти он не поклонился). Испытал и я, что полагается, но тою грозною ночью все еще было в предвестии, за недалекими горами — только гул.

И тем резче противоположность с теплым домом, светлым и приветливым, куда мы, наконец, пришли.

В те годы в Москве находились люди промежуточной позиции (между «нами» и «ими»). Преуспевали они «там», но и прежних друзей не забывали. Некоторые из «нас», благодаря этому и выжили. Доктор, к которому шли мы, был именно из таких. Временами устраивались у него сборища — литераторов и художников, музыкантов, актеров. Практика в Кремле позволяла ему иметь порядочную квартиру, теплую, с электричеством, доставать коньяк, питаться по-человечески... какая роскошь для времен проклятой «пшенки»! Доктор был любителем «наук и искусств». Кружок, у него собиравшийся, назывался «Академия Неугомонных»; цель его — давать передышку в страшной жизни, и вообще: жить! хоть минутами. Вяч. Иванов сочинил гимн академический. (Начинался он словами: «Не огни святого Эльма...» Кажется, была и музыка к нему, если не ошибаюсь, А. Т. Гречанинова, одного из основателей кружка).

Чуть ли не гимном этим нас и встретили. Помню Гречанинова с женой, веселых и оживленных, самого доктора (позже, когда помирал я от тифа, в числе других и он меня вытаскивал...). Главное, помню ощущение дружественности, свободы, изящества, с в о е г о художни-

ческого круга. Москвин и Юон, Гречанинов и Сологуб, Вячеслав Иванов, Чулков — это не литовские большевики. Хозяин кормил нас, поил, ухаживал — видно было, что ему занятно, делает он это от души. Что-то играли на рояли, много болтали, хохотали, рассказывали о Музее и скандале. Потом Сологуб читал — и читал много, замечательно — в редком ударе находился, да и мы не в обычном состоянии. Этот пир артистический, если был и «во время чумы», то с иным настроением, но не будничный, в странном сочетании восторга и беды, вокруг нас завивавшейся. Кажется, Сологуб договаривал последние свои слова, было это как бы прощание со всею нашей жизнью. Никогда раньше не пронзали так его стихи (да и читал он много; мы не замечали времени — до четырех часов).

«Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:
— Что сделал ты? — меня он вниз
Железным посохом не сбросит.
Скажу: слагал романы и стихи,
И утешал, но и вводил в соблазны.
И вообще мои грехи,
Апостол Петр, многообразны.
Но я — поэт. И улыбнется он,
И разорвет грехов рукописанье,
И смело в рай войду, прощен,
Внимать святое ликованье.»

Больше Сологуба я никогда не видел. Той ночью был он весь особенный и вдохновенный — вышел из обычного своего сумрака. Таким запомнился. Его дальнейшая, недолгая жизнь была, кажется, сплошной Голгофой.

Революционная пшеница

...Годы после войны прожили мы в деревне, тульском имении отца. Не могу сказать, чтобы нас обижали. Меня не только не убили, но и заложником не взяли. Не лишили и крова. Я занимал по-прежнему свой флигель. Мне вернули книги, реквизированные во время моей отлучки: все Соловьевы и Флоберы, Данте, Тургеневы и Мериме не без торжественности возвратились (в розвальнях) домой — на родные притыкинские полки. Правда, пришлось воевать: молодой, бешеный коммунист в Кашире, местный министр просвещения, библиотеки не хотел возвращать. Когда жена моя явилась к нему с разными «мандатами», он отказался их исполнить. В исступлении кричал: — Вижу, что подпись Каменева! Пусть Чека из Москвы едет, пусть меня расстреляют, не отдам народного достояния!

— Да ведь это муж на свои деньги чуть не всю жизнь собирал...

— Ваш муж и так все знает — зачем ему книги, а народ жаждет просвещения...

В товарище Федорове, или Федулине, была искренность. Он искренне ненавидел нас, по его мнению, угнетателей народа. Малограмотный — искренне полагал, что «народ» жаждет прочитать Вячеслава Иванова и «Образы Италии» Муратова. Хуже, конечно, было то, что половина книг оказалась на французском языке. Комическое же состояло в Чеке: из Москвы жене удалось достать столь грозные бумаги, что ими можно было припугнуть каширского Сен Жюста. К чести его, он не испугался.

— Хотя бы сам Карл Маркс пришел и потребовал — не отдам. Пускай расстреливают, наплевать.

Через несколько же дней потух, успокоился, и сдался на простое соображение: книги для меня орудия производства.

— Орудия производства мы обобществляем, — хмуро сказал было сначала.

— Да, в капитализме. Но я кустарь самоучка.

На самоучку возражать не пришлось. Народ моими книгами не просветился.

Слух же о том, что «молодой барин» может раздобыть такой мандат, по которому и книги возвращают, в деревню проник. Это укрепляло наше положение. Жили мы с крестьянами отлично, все-таки не вредно было иной раз показать свое могущество.

В начале революции Кускова и Осоргин издавали в Москве кооперативную газету — очень приличную. Я там кое-что печатал. Писали иногда и обо мне. И вот раз, во флигеле, жена показала некоей собирательной Анютке номер газеты.

— Ну, видишь это, чье тут имя?

Анютка по складам прочла.

— Бариново.

— А тут?

Та не без трепета разобрала: При-ты-ки-но.

Жена сложила газету.

— А дальше сказано, что если барина хоть пальцем тронут, так деревню артиллерией снесут... Понятно?

В тот же вечер вся деревня это знала — артиллерия Кусковой и Осоргина выступила на мою защиту.

* * *

К осени 20 года выяснилось, что семян для озимого у нас мало. Еще мать могла кое-что посеять, на деревне же у крестьян почти все было съедено (т. е. остатки реквизиций и разверсток). Жуткая вещь — очутиться без семян! Сограждане мои забеспокоились. Да и нам приходилось туго.

И тогда пришла мне странная (но к революции подходящая) мысль: спуститься прямо в пасть львиную, что-нибудь оттуда выудить. Съездить в Москву, добыть семян у того самого «правительства», которое нас обирало.

Нерадостно вспоминаешь поездки того времени: тряску в телеге, мытарства с разрешениями, билетами, забитые толпой вокзалы, запакощенные вагоны. Только осенние поля наши, крестцы овсов, запах мякины, конопли в деревнях, теплый дымок над трубами, спутанные лошади в ложочке — вечный пейзаж России — всегда прекрасны. В Кашире пришлось прожить целый день. Мы останавливались у знакомой дамы железнодорожницы. Привозили ей ковриги хлеба, а она выхлопатывала билеты. От скуки забрели на митинг — в это время воевали с Польшей. Попали как раз на речь приятеля нашего библиотечного. Он громил с эстрады перед сотней слушателей Польшу. От волнения побледнел, задыхался, грозил кулаком — но «панская Польша» ему не давалась, все он кричал:

— Товарищи, покажем империалистам п о л ь с к о й п а н ш и... — Или: — п о л ь с к а я п а н ш а, вооруженная до зубов...

Слушатели равнодушно принимали паншу — может быть, даже больше так нравилось — за Окой видны были синеющие леса, августовское солнце бледнело, и тощи казались деревца, запыленные в садике. Русь, Кашира! Пусть Дворянская называется улицей Карла Маркса, но такая ж скакучая мостовая на ней, такие ж булыжники, пыль, запах дегтя, заборы, и так же милы сады каширские — многояблочные, многовишенные, — над ними звонят колокола белых церквей.

Тяжким, ночным путем добрались до Москвы.

Через несколько дней удалось побывать и у Каменева. Он дал записку к комиссару земледелия. Тот и должен был все сделать.

Комиссар Середа помещался со своим учреждением на Пречистенском бульваре, в доме Управления Уделов. Ясным утром осенним подходил я, не без волнения, к этим Уделам: некогда гостил тут Тургенев, здесь читал друзьям «Дворянское гнездо», а теперь вот приходится подыматься по лестнице, в чем-то убеждать, чего-то просить у какого-то Середы... Ничего не поделаешь: голод есть голод.

И не сразу, конечно, дался Середа. Плотненькая, но приветливая барышня, секретарша, потомила — однако, каменевское имя имело вес. Провели в угловой, огромный кабинет, весь залитый солнцем. Над большим столом увидал я черную народническую бороду (наверно, в этой комнате — лучшей — и жил Тургенев!).

Думаю, Середа был не большевицкой закваски, а эсеровской, и обще-интеллигентской: что-то человеческое, более мягкое, в нем чувствовалось. Над столом он сгибался, как сотрудник «Русских Ведомостей», тяготел к общине, летом, наверно, ходил в калошах. Бороду утюжил под Михайловского.

Я ему передал прошение наших крестьян, подтвердил, что положение вправду тяжелое, рассказал об общине — одним словом, получился разговор двух народолюбцев семидесятых годов. Середа успел разгладить, вновь завертеть свою бороду, опять разутюжить ее — и признал, что без семян сеять трудно.

Опять секретарша, машинки, печати — и через день по всем правилам, предписание складу: выдать гражданам сельца Притыкина столько-то пудов семян о з и м о й пшеницы.

Успех настолько удивительный, что за него простишь и Тургенева, и дом Уделов.

* * *

«Мандат» мой произвел в деревне впечатление огромное. Крестьяне, в осторожности своей и вековечной подозрительности, не очень-то сначала и поверили (все Дуньки и Анютки мигом перекинули победу

из нашей кухни на деревню). Но на сходке я документ показал. Его ощупали, обнюхали, осмотрели: все в порядке!

Надо было решиться на одно: обозом двинуться в Москву, оттуда привезти семян — таково условие подарка. Начались разногласия. Мудрецы утверждали — что-нибудь тут да не так. Почему это ни с того, ни с сего, двести пудов пшеницы? И без возврата? На это ответили: а как же книги вернули? Он, барин-то, ты не смотри, что у себя во хригеле все книжки читает. Он свой интерес понимает: у бабушки (так называли мою мать) семянов тоже нет, он и хлопочет...

Взяло верх мнение, что ехать надо. Мы считались «гражданами сельца Притыкина», и от нашего двора выехал гражданин Климка, наш работник, знаменитый святою своей дуростью. Баба Авдотья голосила, что у ней нет лошади и подводы, «а семенов-то и на моих дармоедов, на моих праликов надо» (у ней были дети) — ей решили уделить сообща. После долгих сборов, споров, проволочек — обоз, наконец, тронулся. До Москвы сто тридцать верст, осень сухая, дней в пять-шесть обернутся...

Не без волнения ждали мы их. Мандат мандатом, но ведь Бог их знает, комиссаров...

На седьмой день Климка въехал на серой кобыле во двор — с нагруженным, укрытым брезентом, возом.

— Что ж, хорошо в Москву съездил?

Климка был человек сумрачный, не разговорчивый. Да и слова не особенно гладко из него шли.

— Москва-то тебе понравилась?

— Понравилась... понравилась. Я тебе семянов привез... а ты... понравилась.

«С е м я н о в» привез не один Климка — вся деревня.

— Даже замечательной пшеницы дали, — рассказывал на другой день Федор Степаныч, наш приятель и «комиссар деревни», неглупый, бойкий человек, из бывших приказчиков. Он немного кашлял, шея у него замотана шарфом.

— Так что, знаешь-понимаешь, не задаром в Москву съездили... И мужики премного вам благодарны.

Началась моя слава. Слава вообще связана с ужасом, особенно в «народных массах». Некоторый тихий ужас возник и вокруг моего «хригеля». Если возвращают книги, дают семена; если Кускова с Осоргиным угрожают артиллерией, значит же... И в те дни случалось, что в дверь ко мне раздавался стук. Отворял ее робкий посетитель откуда-нибудь из Мокрого, Оленькова, даже с Мордвеса.

— Значит, как мы слыхали, что вы, очень до семянов ходовиты, то селение наше и кланяется, а насчет чего прочего мы завсегда поблагодарим...

Выходило что-то из «Ревизора». Бобчинский с Добчинским не являлись, но плакалась и баба, и вообще, будь у меня характер Хлестакова, я мог бы процвесть.

Но Судьба не так долго держала меня на подмостках.

Пшеницу посеяли. Кто подоверчивей — всю. Мудрецы (в том числе Федор Степаныч), смололи ее и пустили на пищу, а посеяли из остатков урожая — хотя зерном пшеница была превосходная: с северного Кавказа.

Она взошла удивительно. На вечерних прогулках нередко я любовался ее мощной густой изумрудной зеленью. Стебелек к стебельку, как под щетку. Уже грач мог почти прятаться в ней, когда начались заморозки. Утром зеленя стояли седые — спутанные лошади, которые паслись на них — оставляли темнозеленые следы и борозды.

И к удивлению моему... стал я замечать, что днем всходы не так изумрудны. Они бледнели, с каждым днем прибавлялись погибшие стебельки.

Через несколько дней с нашей же кухни пришло известие: пшеница вся вымерзла. Середа подкузьмил — вместо озимой дал яровую.

* *
*

— Куда же вы смотрели, когда брали? — спрашивал я Федора Степаныча.

— Оно, действительно, вышло ошибочно, но на глаз она что озимая, что яровая одинаково оказывает, никак не разберешь, да и начальство спутало...

Я не могу и тут жаловаться: слава моя уходила под горизонт, на подобие солнца, медленно и непоправимо, но л о я л ь н о. Меня никто не укорял. Но в дверь больше не стучали, ходаков не присылали и вокруг меня устанавливалась прохладная пустота.

Впрочем, это были последние вообще мои месяцы деревенские: с падением Перекопа и мы отступили на Москву.

Пасть львина

Памяти недавно скончавшегося Я. Л. Г.

Всякому, кто Москву знает, ясно, что за Никитским бульваром, почти параллельно ему, идет Мерзляковский переулок (прямо к «Праге») а около него ютятся разные Скатертные, Хлебные, Столовые и другие симпатично-хозяйственные: барская, интеллигентская Москва.

Скатертный, д. № 8, в нижнем этаже, помещалось писательское содружество — «Книгоиздательство писателей». На началах артельных выпускали там альманахи и собственные сочинения Бунин, Шмелев, Вересаев, Телешов, Алексей Толстой, Сургучев, я, другие. Управлял делами некий Клестов. Предприятие было поставлено основательно. Книги авторов прочных, альманахи отлично шли, писатели зарабатывали.

Войну книгоиздательство выдержало, даже преуспело. В революцию произошла такая вещь, что Клестов отошел к большевикам, Бунин, Толстой, позже Шмелев уехали. Остались книжные склады, Вересаев, Телешов да я. Клестов издали, но по старому знакомству, покровительствовал. Власти не закрывали — частью не доглядели, да и Вересаева настоящая фамилия Смидович. Значит большая рука в правительстве.

Мы кое-что продолжали печатать, кое-как держались. Благодаря различным комбинациям дипломатическим, в 21 году председателем оказался я: выбрали оставшиеся пайщики.

* * *

Вместо Клестова хозяйством заведовал теперь секретарь, старичок Яков Лукич. Прежде он служил бухгалтером в лабазе на Ильинке — худенький, носил очки, сгорбленный, несколько напоминал Ключевского. Имел какое-то отношение к старообрядцам — работник был

замечательный и человек дотошный. К нам относился сочувственно, но слегка покровительственно, как к людям книжным, непрактическим. Я покорно подписывал разные бумажки, какие он мне подавал, а он посматривал на меня иногда строго, маленькими глазками, из-под очков. Я немного смущался. Что понимаю я в его бухгалтериях? Того и гляди поставит «неполный балл», как некогда инспектор в гимназии.

Раз, в начале апреля, захожу в издательство. Яков Лукич расстроен — сразу видно.

— У нас маленько затрудненьице-с...

— Что такое?

— Выселяют. Что, мол, за писатели такие, вы больше контрреволюционеры, да и то ни черта не издаете. А мы коминтерн. И квартиру вашу заберем и типографию.

— Невесело, Яков Лукич.

— До веселья даже весьма далеко.

— М-м... что же мы будем делать?

Яков Лукич призадумался.

— Что ж тут поделаешь... Аки в пасть львину махнем. На двенадцатое число — изволите видеть? — он показал бумажку, — назначено заседание, в московском совете. Коминтерн выступит. Ну и мы... тово, не должны бы лицом в грязь ударить. Мы же кооперация, не забудьте! Трудовое товарищество, и зарегистрированы, и книжечки издаем, работаем...

— Отлично. Вы с Викентием Викентьичем и займетесь...

Яков Лукич ухмыльнулся не без яду.

— Нет-с уж, какой там Викентий Викентьич. В бумажке прямо сказано: объяснения должен дать председатель правления.

— Да ведь у Викентия Викентьича брат в совете...

— Мало бы что. Сказано председатель, они иначе и разговаривать не станут... Да ведь и вы с товарищем Каменевым знакомы-с? Чего же проще.

Правление наше вполне подтвердило взгляд Якова Лукича: идти мне, а секретаря взять с собой — для справок, отчетности и тому подобного.

У Подколесина было окно, куда выскочить. Мне — куда же? Значит, надо идти.

* * *

Апрельский мягкий день. Лужи, почки на тополях, нежная московская дымка над полузамученным городом.

Дворец генерал-губернатора. Стучат машинки, входят и выходят товарищи, аккуратные барышни бегают. У входа два красноармейца

— Я вчера у св. Андрея Неокесарийского в толковании к Апокалипсису читал-с... да, я теперь знаю уж точно... насчет коминтерна-с...

Яков Лукич, в потертом пальто, сильно закутав платком шею, в огромных калошах входил со мной в вестибюль. Мрачный у него был вид. Хорошо бы закрестить всю эту дьявольскую чепуху.

Мы подали кому следует свою бумажку, сколько надо ждали, потом нас попросили в зал заседаний. Узкая комната с окном на площадь. Длинный стол, в центре Каменев, по бокам «товарищи», больше молодежь.

— Ваше дело теперь скоро, — шепнула барышня. — Можете здесь побыть.

Каменев сидел несколько развалясь, побалтывая под столом ногой. Ботинок снят, очевидно натер. Он — председатель совета, а тут заседание президиума. «В самое ихнее пекло и попали-с»... — шепнул Яков Лукич. И стал разбирать свои бумажки. (Там у него подробно, тщательно было разрисовано, какие мы когда выпускали книги, в каком количестве, как работала типография, и т. п.).

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы по виду пекло было страшное. Каменев кивнул почти любезно, «разбойнички» имели тоже веселый вид — слесаря, вроде приказчиков, булочники, некоторые с залихватскими вихрами. Во френчах, кожаных куртках. Тоже поглядывали на нас с любопытством. «Про Короленку, Владимира Галактионовича, не забудьте, про Короленку», шептал Яков Лукич. «Что, мол, такого знаменитого писателя тоже издаем. Они его уважают. И Крапоткина... Гаршина, обязательно надо...» «Яков Лукич, а как бы это не наврать, какой у нас с первого-то января баланс?» Яков Лукич не без раздражения тычет ведомость с колонкой цифр — все это я приблизительно знаю, да вдруг собьешься перед коминтерном. «Я уж ведь вам показывал-с... А ежели, извините, собьетесь, — только уж не уменьшайте»...

Нельзя отрицать, симпатичные молодцы действовали решительно. До нас были дела тоже мелкие, хозяйственные по Москве. Отпуск дров районному совету, ремонт казарм, довольствие пожарным москворецкой части. Долго не разговаривали. Раз, два — готово. По правде сказать, темп и решительность даже понравились мне.

Наконец:

— Дело книгоиздательства писателей и коминтерна... Кто присутствует? А, председатель, так. Сядьте сюда. Коминтерн? Товарищ Герцберг. Слушаем. Товарищ, изложите свою претензию.

Товарищ Герцберг оказалась сытенькая, стриженая барышня еврейского вида. У ней тоже была какая-то папка, она разложила ее. Я сел рядом, справа Яков Лукич. «Про Толстого-то, Толстого не забудьте», побледнев зашептал Яков Лукич. «Он хоть Алексей, а для них вполне за Льва сойдет».

О, если бы слышала это товарищ Герцберг! Но она поводила плечами в кожаной незастегнутой куртке, напирала грудями на свою папку и сразу пошла галопом.

— Товарищи, так называемое книгоиздательство писателей в прежнее время издавало реакционную литературу, но вот уже два года находится в полном интеллигентском параличе...

То ли слишком велик был ее азарт, то ли она не подготовилась, но ничего лучшего для нас и представить себе нельзя было. Она утверждала, что мы существуем лишь на бумаге, книг не издаем, квартира пустует, типография не работает... — в то время, как бедный коминтерн теснится, жмется в каких-то углах, у него нет ни помещений, ни достаточного количества типографских машин.

Говорила быстро, по-одесски. Все знает, все понимает товарищ Герцберг. Даже удивлена, что ей, представительнице могучей организации, приходится доказывать... (таков был тон).

Всякое собрание есть театр. На каждом представлении родится атмосфера, спасающая пьесу, или ее губящая. Не ту ноту взяла товарищ Герцберг — и сразу это почувствовалось.

Каменев холодно разрисовывает круги.

Пугачевцы недовольны. Что-то говорят друг другу вполголоса. Неприязненно улыбаются. (Позже мы узнали, что у московского совета именно тогда и были нелады с коминтерном).

— Товарищ, кратче, — сухо сказал Каменев.

Она рассердилась и стала еще красноречивей.

— Хорошо, все ясно. Представитель другой стороны.

Не нужно было быть ни Маклаковым, ни Плевакой, чтобы по шпаргалке прочитать, сколько книг, и на какую сумму издали мы в этом году. (При имени К р а п о т к и н, Т о л с т о й, — победоносные усмешки на лицах слесарей). На следующий месяц предположен Короленко — избранные сочинения... Типография работает. В квартире издательства телефон и постоянные часы приема.

Коминтерн нервно попросил слова. Опять митинговая речь.

«Гаршина-то, Гаршина позабыли...» шептал сбоку Яков Лукич тем тоном, как некогда, в молодости, говорил мне объездчик Филипп на охоте: «Эх, барин, опять черныша смазали!» Но теперь сам коминтерн на нас работал.

Каменев наконец вмешался.

— Все это, товарищ, известно. Вы повторяетесь. Мы теряем время.

— Довольно, довольно, — раздалось кругом.

Каменев предложил высказаться президиуму. Сказано было всего несколько слов. Трудовое товарищество работает, — и пусть работает. Издает великих писателей, как Толстой. Мешать не надо.

Товарищ Герцберг, не спросясь, перебила говорившего, вновь громя нас. Каменев рассердился.

— Товарищ, я лишаю вас слова. Мнение президиума? Да. Так. Постановлено: коминтерну отказать. Секретарь, следующее там что у вас?

* *
*

Через полчаса мы сидели уж в Скатертном. Мимо окон проходили прохожие. Закат сиял за Молчановками, Поварскими. Недалеко особняк Муромцевых. Недалеко дом Элькина, где когда-то мы жили. Мирная, д р у г а я Москва.

— Что ж, Яков Лукич, пасть львина уж не так страшна? Победили мы с вами коминтерн — два таких воеводы?

— Изумляюсь, поистине...

Он встал и отворил шкафчик.

— Тут у меня на лимонной корочке настойка есть, то и следовало бы по случаю поражения иноплеменных чокнуться.

Нашлись две рюмки. И мы чокнулись.

— Разоряют Москву, стервецы-с, — сказал вдруг грустно Яков Лукич. — До всего добраться хотят, это что-с, квартира наша, типография. Пустяки. Подробность. Они глубже метят. Им бы до святыни дорваться...

Он помолчал.

— А что мы с вами так фуксом выскочили, это действительно...

— И то слава Богу, Яков Лукич. Я не надеялся.

Он вдруг засмеялся тихим смехом, погладил стол, кресло.

— Все теперь опять наше... И квартира, и типография. А как вы скажете, ежели по второй?

Выпив, Яков Лукич поднялся. Невысокий, сгорбленный, показался он мне дальним потомком дьяков московских, родственником Ключевского. Трепаная бороденка — не то хвост лошадиный, не то редкие кустарники по вырубкам.

— У св. Андрея Неокесарийского про этот самый коминтерн весьма даже ясно сказано...

И трижды показав дулю невидимму врагу, обернулся ко мне. Что-то строгое мелькнуло в умных его глазках.

— А Гаршина вы все-таки изволили позабыть.

Прощание с Москвой

Много в Москве было для нас всяческого, и радостного, и горького, и большого, и малого, и через нашу жизнь Москва прошла насквозь, проросла существа наши, людей московских. Но в судьбе некоторых из нас было и удаление из Москвы, расставание с нею... — временное ли? Или навсегда?

Есть в Москве улица Арбат. Некогда названа она была Улицей Св. Николая — по трем церквам святителя на ней: Никола Плотник, Никола на Песках, Никола Явленный. Вокруг всякие улочки и переулочки, с именами затейливыми — Годеинский, Серебряный, Кривоарбатский. Этот последний в самой середине Арбата, рядом со зданием Военно-Окружного суда — и переулок действительно кривой: назван правильно.

Вспоминая московскую свою жизнь, видишь, что и началась она и окончилась близ Арбата. На углу Спасопесковского было первое, юное наше пристанище, в этом Кривоарбатском последнее.

Вижу его теперь, через много лет, взором неравнодушным. Пристанище для времен революции и совсем неплохое: мы снимали в квартире артистки одной огромную комнату, сами ее обставили, устроили печку, в зимнюю стужу обогревали и боками своими. Прожили в ней полтора года. В эту-то комнату и пришел раз, поздно вечером, друг наш, издатель Гржебин. Вполголоса, в полутьме, говорили мы об отъезде: сам он уезжал в Берлин, там основывая издательство, вывозя и меня, и мою семью.

В эту комнату пришла первая иностранная виза — из Италии! Отсюда мы уезжали.

Отсюда же, мысленно, веду я рассказ и сейчас — о последних моих днях на родине.

* *
*

Та весна была теплая, почти жаркий май, и довольно пыльный. Много приходилось путешествовать по учреждениям... — грязнова-

тые лестницы, очереди, товарищи, штемпеля, бланки. «Из Ч. К. разрешения еще нет», значит опять ждать: комиссариат иностранных дел без чеки ничего не даст.

Все равно мы терпели, ждали, дело серьезное. Сила же терпения и упорства велика. Одна бумажка выйдет, ждешь другую, один штемпель прибавился и то хлеб, ждешь следующего. Удостоверения, разрешения — без конца.

Но конец все-таки пришел. Однажды, в начале июня, взобравшись на очередной третий этаж, получил я две красные паспортные книжки с фотографиями, печатями и подписями. Сохраняю их — след прошлого, а отчасти — знак хода судеб: на восьмой странице книжечек этих, по голубоватой сетке бумаги красными чернилами подпись: Г. Ягода. С ним рядом, мельче и тусклее: М. Трилиссер.

Участи Трилиссера я не знаю, судьба Ягоды всем известна. Не без содрогания смотришь теперь на эти имена, но тогда меньше всего я о них думал. Сквозь всю усталость пробивалось лишь одно: выпустили! Едем.

По улицам нес документы благопристойно. Дома же разложил их по полу и — надо сознаться — протанцевал над ними.

А между тем, дело ведь шло об отъезде из родного города, родной земли! Мы покидали самых близких. Хоть и говорили, что на время, и в сознательной, освещенной части души так, как будто, и было, но в потемках глубин... Все-таки мы не колебались. Нас несла уже некая сила — корабли у пристани, на дальний запад, прочь от Трои пылающей. Это судьба. Все текло в жизни нашей к отъезду. То одно, то другое удалялось из комнаты — что дарили, а что продавали. И все ближе, ближе...

* * *

В Москве в эти дни шел большой политический процесс — эсеров. Процесс был многолюдный, публика волновалась и все требовали смерти. На защиту приезжал из Бельгии Вандервельде. На Виндавском вокзале, откуда мы должны были уезжать, ему устроили такой прием, какого европейский человек не ожидал: орали и свистали, бросали камни, даже и ругали его по-французски. Это, кажется, его удивило, он не знал, что так распространен его язык в России (если бы знал, что несколько мальчишек специально были обучены, изображая народ, удивление его убавилось бы).

Приговор приготовили, разумеется, загодя, но ему надо было дать характер воли народа. Решили сделать это, «поднять массы».

Молочница, носившая нам молоко, тоже была из масс.

Накануне дня манифестации сказала моей жене:

— Завтра, барыня, прямо все пойдем. Вся Москва.

— Куда же это?

— И со знаменами, со флагами. Этих вот, как их там... чтобы требовать наказания.

— А что они тебе?

— Да мне то ничего. А так, что сказано: кто пойдет, тому калоши выдадут. А достань-ка ныне калоши!

Мы должны были выезжать накануне манифестации. Но из-за Вандервельде, спешно, в беспорядке отступавшего со своими спутниками, наш отъезд отодвинулся: все места в заграничном вагоне оказались уж заняты. Так что день получения калош мы проводили еще в Москве. Это было именно наше последнее московское утро.

Поезд уходил в пятом часу. И среди всех формальностей отъезда все-таки одна не была еще выполнена.

Пришлось идти в Китай-город. Я шел по Арбату мимо «Праги», где когда-то мы веселились. Сперва Арбатская площадь с памятником Гоголя. Против Гоголя стена Александровского Военного Училища. Памятник при мне открывали, форму училища я одно время носил.

Мимо церкви св. Бориса и Глеба вышел на Воздвиженку, обогнул «Петергоф», прошел мимо университета, где учился. Повернул к Историческому Музею. Было теплое утро, солнечное, совсем как весной 1918 года, когда православная Москва вышла с иконами и хоругвями на улицу. С разных концов города, при громовом гуле колоколов, собирались крестные ходы ко Храму Христа Спасителя, а оттуда двинулись ко Кремлю. Наш Арбатский район шел Пречистенским бульваром, влился в общую массу и потом все двинулось именно к этому месту — где я сейчас находился — проезду между Кремлем и Музеем: тут стоял патриарх Тихон и благословлял народ. Он был спокоен, сдержан. Навсегда запомнилось глубоко-народное, как у Толстого, лицо с крупным носом, ясными глазами, русой бородой. В руке у него был золотой крест, солнце горело в этом кресте. Он остался видением древней, несокрушимой Святой Руси, восставшей из тысячелетнего лона.

За патриархом были исповедничество, нищета, близкое заточение — тот самый крест, облик которого он держал в правой руке и на который как бы звал всех склонявшихся перед ним. Никольские ворота, в Кремль, были заперты. Из-за итальянских зубцов глядели солдатские лица в остроконечных шапках со звездой.

Мимо Музея повернул я теперь налево, наискосок через площадь к Ильинке — это Китай-город, московское Сити. Как в Сити, глухие и неказистые тут переулки, конторы, лабазы. На Варварке знаменитый трактир, тоже невзрачный, как и лондонские. И тоже — миллионные дела.

Здесь теперь оказался и комиссариат финансов — там и должны были мне ставить последний штемпель.

Вход тоже сумрачный. Свету мало, дома из узеньких улиц заслоняют. Большое здание — к удивлению, некоторому и ужасу моему

оказалось оно полупустым. Служащие расходились, конторки одна за другой закрывались.

Опять надо было упорствовать. Но ведь вечером поезд... Как-никак, чуть не у последнего окошечка, но бойкая барышня подала мне документ в исправности. И тотчас застучала на своей машинке. Вошел некто начальственного (но не из высших) вида.

— Товарищ, почему же вы работаете? Не знаете, на манифестацию идти?

Она продолжала выстукивать.

— Я сейчас кончаю и иду завтракать.

— Успеете завтракать. Наши уже все ушли.

Она вдруг остановилась, подняла на него голову в кудряшках, не без дерзости.

— Сверхурочные дадите?

— Слушайте, товарищ... — он зашел к ней за прилавок, наклонился, стал говорить тише. Видимо, я его стеснял.

Барышня захлопнула машинку, поднялась.

— Ну, если так, согласна...

Торг пора было и кончать. Время, действительно, на исходе. Когда я вышел от них на Лубянскую площадь, снизу, от Театральной, подымалась уже голова процессии.

Шли люди в кепках и юноши, отряд голоногих спортсменов, работницы, служащие, несли плакаты, знамена, флаги. И везде одно: «Смерть! смерть! смерть!» Несли какие-то чучела, пели хором. Всё шли и шли, рядами, строем, в беспорядке, как придется. Манифестация многолюдная. Но не более, чем тогда с патриархом.

* * *

Наша большая комната уже в полном разгроме. Даже печка уехала — хранительница наша, и спасительница от морозов. Несколько чемоданов на кровати без подушек и без одеял, ремни, пледы, картонки, сор на полу... — удаление человека, смерть жилья до минуты, пока новый насельник не оживит его.

Не так давно, уже здесь, в Париже, пришлось провожать друзей за море — в Австралию, навсегда: они туда переселялись.

Может быть, наши друзья в Москве смотрели уже на нас — как и мы позже на австралийцев: тени иной планеты. Во всяком случае это они скрывали. И все шло покойно и правильно. Пришел час, подъехали наши извозчики, передвинулись вниз чемоданы, присели мы на кровать, помолчали, перекрестились, да с Богом и тронулись. Извозчики нас везли по тому же Арбату юности нашей, мимо Николы на Песках на Виндавский вокзал. Извозчики были обыкновенные. Тащились серенькою рысцой. Москва медленно протекала мимо.

Мы не встретили никаких процессий — нам давался свободный выход. Сретенкою, мимо Сухаревки со знаменитою башней, тенью Брюса таинственного, неторопливые наши возницы по Мещанской подвезли к невысокому и нехитрому зданию: Виндавский вокзал, на небольшой площади.

Странно сказать, но никогда раньше не приходилось не только что уезжать отсюда, а и видеть вокзал этот.

... Носильщики в белых фартуках, поезд дальнего следования, вагон, купе, последние звонки, последние поцелуи. Ждали, стремились и волновались, вот и пришла минута, преломился кусок хлеба в крепких руках — медленно утекала назад платформа, милые лица, платочки, слезы. Замелькали строения железнодорожные, а потом домики и сады. Мы одни были в купе. Погода менялась. Над Москвой заходила сизеющая туча, подбираясь к солнцу. Вот остался узкий златистый нимб, а там и он померк, ушло солнце в глубины туманно-смутные. Прохладная тень кинулась вниз. Начинались уже поля. Ветерком донесло запах дождя.

Мы почувствовали только теперь, как устали.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.

Памяти Чехова 11
Начало Художественного Театра 17
Леонид Андреев 22
Сергей Глаголь 30
Литературный Кружок 33
«Зори» 39
Молодость — Иван Бунин 43
Юлий Бунин 48

II.

«Дело богемы» 53
Флобер в Москве 60
Гоголь на Пречистенском 64
Ю. И. Айхенвальд 69
П. М. Ярцев 73
Надежда Бутова 82

III.

«Мы, военные...» 89
Офицеры 106

IV.

Москва 20-21 гг. 121
М. О. Гершензон 126
«Веселые дни» 130
Чтения 141
Революционная пшеница 147
Пасть львина 152
Прощание с Москвой 157